

«Где ты, звезда моя заветная,  
Венец небесной красоты?»  
(Иван Бунин. «Сириус»)

### Глава первая

Сириус встал над селом уже в сумерки, когда Сещё и месяц-то был тускл и туманен. В это время из неказистой, крытой толем избушки торопко вышел лысоватый с лихо закрученными усами мужик и, вольготно развалившись на завалинке, стал мастерски вертеть козью ножку, распространяя окрест дурмящий запах обильно сдобренного травами самосада. Основательно посплюнявив отрывной край аккуратной газетной воронки и настойчиво пройдя по нему обрубками большого и указательного пальцев правой руки, мужик достал спички и вскоре уже довольно попыхивал самокруткой то вправо, то влево, разгоняя скопившуюся над головой мошкарку. При этом на набирающей силу серебряный месяц он почти не смотрел, а вот голубой Сириус забирал его всё больше и больше. И если бы кто-либо из местных умников наблюдал его в эти минуты со стороны, то наверняка бы заметил, что странный сельчанин очень похож на Икара, который готовится обрести крылья и рвануть к самой яркой небесной звезде, словно к появившемуся после долгой разлуки дому. Но оба здешних умника — председатели сельского совета и колхоза — к этому времени уже изрядно нахлебались дармового самогона и наблюдали разве что красные щетинистые рожи преданных им земляков-собутельников.

Странный этот мужик, однако, носил привычное для каждого русского уха ФИО — Иван Иванович Фёдоров. Впрочем, никто в селе, кроме соседки Нинки, его ни по имени, ни по фамилии не кликал. Издавна все звали его Дивой Беспалым. Дивой — за дивное отличие от остального сельского населения, Беспалым — из-за отсутствия значительной части пальцев. Разумеется, здесь не лишним будет прояснить, в чём состояли эти отличия, отчего их сочли дивными. И почему у Дивы не хватало пальцев. Отличия были во всём, и было их куда больше, чем сходств. Последние заключались главным образом в наличии у Дивы двух рук, двух ног, головы, туловища и русского языка. Всё остальное — сплошь от-

Виктор СБИТНЕВ

г. Кострома

# ДИВА

повесть



личия! Во-первых, Дива жил бирюком — на отшибе, на берегу лесной речки, которая питала сельские пруды. Во-вторых, он не был женат, несмотря на то, что после войны замуж за него были готовы выйти более половины местных женщин — как вдов, так и засидевшихся девок, «вековух». Но он не то чтобы презирал бабье общество или там, наоборот, был ходоком по женской части, — нет, он общался с бабами куда охотнее, чем с мужиками, со знанием дела разделяя их житейские заботы, радости и боязни, только вот замуж ни одну из них ни разу так и не позвал. В-третьих, никто из сельских мужиков не мог похвастаться дружбой с ним, и даже не дружбой, а хотя бы тем, что сиживал с ним за бутылкой или косил в паре, или рубил баню, или резал поросёнка. И ни над кем вроде Дива не подсмеивался, никого ни разу не осуждал, ни с кем искони не ссорился, но друзей-приятелей у него в селе так и не появилось. Грубо говоря, к нему ничто человеческое просто не липло: ни дружба, ни ненависть, ни правда, ни кривда. Был он столь свободен и независим, что все встречные люди, как те курьерские поезда с грохотающей неподалёку транссибирской магистрали, пролетали, не останавливаясь, всё мимо и мимо. При этом он всем вежливо кланялся, со всеми здоровался и даже нередко перекидывался парой-другой казённых фраз, но не более того. В-четвёртых, Дива не состоял в колхозе, хоть и слыл самым сведущим в сельском ремесле. Не раз то председатель колхоза, то главный агроном, то партийный секретарь заводили с ним пропагандистские беседы на предмет вступления в колхоз на самых выгодных для Дивы условиях, но получалось это у них как-то уж очень неумело. Нет, с другими сельчанами были они и красноречивы, и авторитетны, и — главное — убедительны. А с Дивой почему-то ничего не получалось: все их доводы словно зависали в пространстве, слова и отточенные годами фразы вдруг начинали казаться чужими и вообще высосанными из пальца. После одной из таких бесед секретарю партийной колхозной ячейки Иосифу Давыдовичу Небольсину почему-то даже стало стыдно, и он впоследствии больше ни разу на такие беседы не отваживался. Председателя же колхоза «Рассвет» Семёна Дерябина разговор с Дивой ввёл в великое смущение — и это при том, что последний ему ничего крамольного

ни о колхозе, ни обо всём кооперативном движении вроде бы и не говорил. Он просто искренне назвал те досадные, с его точки зрения, причины, которые пока что не позволяют ему стать советским колхозником. В-пятых, Дива не имел ровно никаких контактов ни с сельским советом, ни с его председателем Самсоном Ищенко, у которого всякий сельчанин выписывал березняку на дрова, сосняку на строительство и уголья под сенокос. Дива же, несмотря ни на что, добывал всё самостоятельно: траву возил с дальних вырубков, на дрова рубил сухостой или собирал валежник, а за строевыми деревьями ездил в лес по ночам, когда все обходчики и егеря смотрят себе безмятежные сны. Причём он пилил лес таким хитрым образом, что на порубочном месте не оставалось ровно никаких следов. Однажды местный полесчик Пахомыч всё-таки настиг Диву за порубочным занятием, но это ему ровным счётом ничего не дало. Он проговорил с нарушителем ровно пять минут, после чего они мирно разошлись: Дива с распиленной сосной на тачке заспешил в село, а Пахомыч на выдавшем виды «Ковровце» — к себе в лесничество. Странно, но после этого случая лесник здоровался с Дивой особо тепло и даже почтительно. В-шестых, Дива бывал на селе крайне редко, только из острой необходимости, отдавая почти всё своё время лесу, полю и домашнему хозяйству. А есть ещё в-седьмых, в-десятых и даже в-двадцать пятых! Именно исходя из последнего, все отличия Дивы от остального Мира и можно назвать дивными, ибо дивна сама по себе столь вопиющая независимость одного человека от всех остальных, и не только от конкретных людей, но и от всего созданного ими на селе. Что же касается обрубленных пальцев, то их молодому Диве отрезали ещё до войны, когда он, пьяный, не сумев доплутать до своей избы, на лютом морозе рухнул прямо под заметённый снегами забор. Самого Диву кое-как отогрели спиртом, а вот половина пальцев на обеих руках отмёрзла начисто. В селе рассказывали, что чудного непьющего Диву подпоили его же беспутные одногодки, добавив в сельповское пойло для верности куриного помёта. Одногодков вскоре убили на войне, а Диву из-за этой их «насмешки» над ним на фронт так и не взяли. И потому, когда война кончилась и в село вернулось дюжины полторы искалеченных лю-

дей, Дива Беспалый оказался среди них самым здоровым и справным мужиком, в связи с чем его первое время даже недолюбливали. Но он был столь сдержан и незлопамятен, что всякие антипатии к нему очень скоро уступили место стойкому умеренному уважению. А обрубки пальцев... они остались красноречивым свидетельством единственного тесного общения Дивы с человеческим обществом.

## Глава вторая

Утро девятого мая 1975 года застало Самсона Юлиановича Ищенко в погребе, где помимо бочек с квашеной капустой, мочёными яблоками и солёными огурцами он держал ещё и полтуши копчёной свиньи и несколько ящиков тушёнки из кроликов. Но отнюдь не продукты этим знаменательным утром беспокоили богатое воображение любившего закусить мелкого советского начальника, он лихорадочно шарил меж тушёночных ящиков сразу обеими руками в поисках заветной метрики, которую торжественно в Львовской управе вручил ему в день его совершеннолетия лидер патриотического движения «За ридну Украину» Остап Кол. В метрике значилось, что хлопец Арсений Волосюк добровольно, согласно своим мыслям и убеждениям, вступает в Движение и, понимая и принимая всю ответственность, накладываемую на него этим членством, обязуется то-то и то-то... До почти самого 1945 года он про эту ответственность примерно помнил и даже нередко напоминал тем из сотоварищей, кто по известным причинам начинал во взятых на себя обязательствах сомневаться. Но однажды, узнав от знакомых поляков, что севернее, с территории Белоруссии, советы уже перешли границу СССР, Ищенко страшно испугался своего неосмотрительного членства и стал бешено раздумывать над тем, а как бы это на годик-другой «трохи сховаться». Помогли уцелевшие львовские евреи, которых прежде украинский патриот Ищенко по обязанности разоблачал. За золотые часы и перстень с дрянным рубином, у них же отобранные, местный стряпчий Абрам Карасик изложил патриоту документ со всеми необходимыми печатями, что он теперь не торговец не-

мецкими туалетными принадлежностями Арсений Волосюк, а Самсон Ищенко, простой рабочий с местного мыловаренного завода.

— Где же она, проклятая?! — вслух выругался председатель сельсовета. — Кажись, нашёл.

Он вытянул из-под одного из ящиков небольшой кожаный мешочек с овечьей шерстью, а в ней обозначились заветные жёлто-голубые корочки львовского удостоверения Арсения Волосюка. Можно было, конечно, стать и Иваном Ивановичем Ищевым или Ищевым, но осторожный патриот понимал, что с его выговором лучше быть Ищенко. Он им и стал. А далее, однажды уже опьянённый кое-какой властью, он попытался добиться её и на территории советской России, куда перебрался с Украины, чтобы не быть случайно узнанным кем-либо из своих прежних недругов. Поначалу, как большинство его земляков, он хотел рвануть либо в Сибирь, на Енисей, либо на Дальний Восток, в Приамурье, но по ходу обратил внимание на то, что в Центральной России, где не вернулось с войны более половины мужского населения, будет куда спокойней. А главное, на таком мужичьем безрыбье ему все карты в руки! Но власть к Ищенко — Волосюку больше не шла: подводили старые стереотипы и воспитанное немцами стремление к железному порядку. Вот как раз порядок в России никто не любил: ни партийные начальники, ни простой трудовой народ. Порядок подводил Ищенко трижды: только-только достигнет он приличной должности, так сказать, стартовой площадки, точки отсчёта, как бац — и всё прахом! Почему? А просто потому, что именно этот подчёркнутый и где-то даже показной порядок ему сослуживцы и не прощали, ибо его им вечно ставили в пример и... они начинали этого аккуратиста ненавидеть и соответственно при случае подставлять, поминая при этом «мудрое» сталинское: нет человека — нет проблемы! Наконец Ищенко это надоело, и он пустил всё на самотёк.

«Ну и хрен с вами, жрите с полу и ссыте по углам, быдлаки!» — молвил он в присутствии своей второй жены Софьи Ефимовны Брейтвейт (своей наследной фамилии Софочка при замужестве не сменила) и устроился заведующим вещевым складом в райпотребсоюз. Там он и просидел более десяти лет, до первой серьёзной ревизии, после которой, чудом избежав посад-

ки, оказался счетоводом в Меже. Далее пришлось завоёвывать авторитет межаков, пробиваться в депутаты и лишь потом претендовать на кресло председателя сельсовета. Но опыта Ищенко было не занимать, а потому стал он через несколько лет мытарств и унижений внешне вполне уважаемым на селе председателем, вокруг которого все, кроме Дивы Беспалова, крутились и вертелись. Больше других этой перемене мест и обстоятельства была рада Софья Ефимовна, собравшая во время мужнина заведования в потребсоюзе богатейший гардероб! И теперь, появляясь на людях всякий раз в новых экстравагантных нарядах, она с наслаждением наблюдала, как тушуются при её великосветском появлении все местные красавицы, даже из молодых, не говоря уж о её ровесницах-дурах, которые моднее пухового платка или аляповатого шерстяного полушалка за всю жизнь ничего и в руках-то не держали. А бывало, что супруг брал её с собою и в райцентр, на партийно-советские сборища, где она тоже положительно всех затмевала, даже дочку местного часовщика Иосифа Петровича Цилевича Соньку, одевавшуюся богато, но совершенно безвкусно.

— Нет, Самсончик, ты видел? — требовательно теребила она мужа по возвращении. — Чего эта дура только на себя не навертела! Юбка кремовая, прозрачная, а через неё синие трусы так и лезут! А ещё она переняла моду... из телевизора, я думаю, появляться на публике без лифчика. И это с её-то дойками! Но ведь они же у неё давно не стоят! Да и стояли ли вообще когда-нибудь? Самсон, ты скажи Осе, чтоб не позорила почтенную фамилию, пусть наденет натитишник!

— Софочка, непременно скажу, завтра же на дне рождения у начальника милиции, — отвечал блаженно развалившийся на венгерской кушетке муж.

— А ты не возьмёшь меня с собой к этому солдафону Хватову? — с укоризной вопрошала супруга.

— Софа, я бы охотно, но этот солдафон, как ты выражаешься, предупредил, что это будет чистый мальчишник, — отвечал виновато супруг. — Ты же знаешь, родное сердце, что Хват свою жену терпеть не может уже лет десять. С тех самых пор, как эта кляча уморила с трудом появившегося на свет сынишку. Просто забы-

ла его на морозе возле поликлиники. Крупозное воспаление — и кранты!

— А почему он с ней не разведётся, Самсон? — недовольно, словно речь шла о её родном брате, спрашивала супруга Софья. — Взял бы молодую, она бы ему ещё нарожала, и не одного.

— Я думаю, что он за карьеру свою боится, — делился своими соображениями Самсон. — Он мне как-то говорил, что у них с этим строго, за развод врежут хуже чем за пьянку.

— Вот дураки! — сетовала на всю советскую милицию Софья Ефимовна. — Неужели для того, чтобы получить полковника, надо всю жизнь прожить с крокодилом?

— А вот всё у них тут так! — вспомнив свою львовскую молодость, воскликнул Ищенко. — Порядку на деле никакого, а видимость подай! Возьми вот, к примеру, нас, партийных и советских работников. Кто без проблем идёт в рост и загребает разные там поощрения и награды?

— Блатные, что ли? — высказала догадку жена.

— Скажешь тоже! — с усмешкой возразил муж. — Блатные в торговле процветают или в обслуживании. А у нас процветают те, которые больно много не размышляют — «быть или не быть?», а живут по поговорке «Бей своих, чтоб чужие боялись!». Ты вот, Софа, можешь припомнить, чтобы я кого-нибудь из своих тиранил, наказывал? Да можешь и не отвечать, — замахал руками Самсон Юлианович, заметив преданное выражение на лице жены. — Я, наоборот, всегда для своих на всё готов. И дров по лимиту выпишу, и сенокос — извольте, да поближе к Меже, чтобы ноги каждое утро не мять, а сразу по холодку да росе — косу в руки и за дело! Да разве ж оценят это лизожопы городские?!

— Жополизы, Самсоша, — пыталась поправить жена. — Я тебя прошу, просто умоляю, не портить себе здоровье по пустякам!

— И это ты называешь пустяками, Софа? — с отчаянием спрашивал разволнованный не на шутку муж. — Другим — повышения и награды, а меня — на склад. Скажи, за что?

— Ой, Самсон, скажи спасибо, что на склад, а не на... цугундер! — с напором возразила жена. — А что, на складе неплохо жилось. Весь район у нас в ногах валялся: отпустите то, продайте это... Звучит не очень, конечно, — «завскладом», а на

деле — мы в районной элите под первыми номерами значились.

— Не преувеличивай, Софа, — пытался остудить супругу Ищенко. — Я всего лишь снабженец. Думаю, что все они: и Хватов, и predisполкома Насмороков, и даже сам Опалёнов видели во мне всего лишь необходимого поставщика для их благородий: вот Хватову понадобились западные джинсы — он ко мне, Насморку — гэдээровская стенка, опалёновской Ларе — итальянское бельё и французские духи. А сколько у меня было рокировок с продскладом! Я ему финский кафель — он мне два ящика икры и растворимого кофе. Я ему — два блока финской бумаги и немецких презервативов — он мне пяток ящиков «Китайской стены»... И так далее. А здесь, в этой долбаной Меже, не очень ли, знаешь, перед председателем пресмыкаются. Иные, конечно, ради пяти кубов берёзовых дров готовы перед тобой и польку, и краковяк сбачать, а есть и такие, что мама не горюй! Здороваются, и то через нижнюю губу, сволочи... Ни тебе почтения, ни культуры, гадят на морозе и задницы рукавом подтирают, а туда же, к избирательным урнам.

— И кто же тут, в Меже, из таких, как ты говоришь, гордых да независимых? Неужели Машка Лушникова, проститутка? — с ненавистью в голосе спросила Софья Ефимовна.

— Да куда ей! — отрицательно замотал головой Ищенко. — Она через день или с бодуна, или с переблуду. А вот конюх Евсей Хрюков, не понять, — то ли чересчур о себе мнит, мерин, то ли чрезвычайно не воспитан, то ли попросту глупый дурак. И всё тут.

— Я Хрюкова немного знаю, — поделилась жена, — по-моему, он просто тупое животное. Его лошади много умнее — например, Буян. Когда я на нём каталась по зиме, знаешь, он положил на меня глаз, и у него, как бы это тебе сказать поделикатней... Ну, в общем, возникла мужская реакция на меня. Я была просто потрясена. Такие размеры!

— Скажешь тоже, Софа! — с досадой на женины фантазии воскликнул Самсон. — У него на конюшне сразу две пассивы есть: Камилла и Бирюза. Вот на них у него и встал. Да, совсем забыл, есть у нас в Меже ещё один странный мужик. Дивой его кличут. Так вот, он вообще ни с кем дружбы особой не водит, но самое

главное, ко мне в сельсовет — ни ногой! А ведь живёт-то один-одинёшенек — без дров, без сена, без пенсии... И в колхозе не состоит. Вот уж этот точно о себе много полагает, хотя, знаешь, воспитан, всегда первым поздоровается даже с поклоном, и от других межаков я о нём ничего дурного не слышал.

— А откуда он на нашу Межу свалился, ты знаешь? — спросила у мужа-председателя Софья Ефимовна. — Может, он от алиментов бежит или от милиции скрывается?

— Слушай, а правда твоя. Надо бы, ёлы-палы, пронюхать, что он за птица. А то ещё, не приведи Господь, устроит нам тут какого-нибудь купоросу, век не отмыться будет! — и по лицу Ищенко забегали тени сомненья и испуга.

— Хочу секс-возбудителя!.. — вдруг неожиданно занудела Софья, томно глядя на мужа, которого от этого её нуда нестерпимо потянуло в уборную.

### Глава третья

Ближе других к Диве жила Нинка. То есть была она уже далеко не Нинкой, а почти пятидесятилетней женщиной Ниной Сергеевной Ляпнёвой, мужниной женой, матерью троих взрослых сыновей и уже даже бабушкой. Её муж, шестидесятилетний Сергей Михайлович Ляпнёв, инвалид и ветеран войны, поймавший на фронте сразу несколько пуль и осколков и чудом выживший в Ржевской мясорубке, работал на торфяном болоте, бухгалтером в тамошней конторе. Каждое утро около семи часов, неторопливо позавтракав испечённой в печке кашей и ещё тёплым от утренней дойки молоком, он выкатывал из сарая велосипед «ЗИФ» и какое-то время вёл его в горку песчаной тропой по направлению к лесу. Потом, когда горка кончалась, он, кое-как перекинув прострелянную ногу через раму, усаживался на кожаное седло и осторожно давил на педали. После этого Нинка ещё долго слышала то и дело позванивавший у него под рулём колокольчик. Затем она шла к заходящемуся в визге поросёнку и задавала ему размоченного хлеба и мятой картошки. Поросёнок до времени затаивал, зато начинал жалобно мекать телёнок, привязанный к колышку возле половни. Нинка от-

носила и ему ведёрко с молочными помоями — остатками кислого молока, творога и простокваши вперемешку со ржаными отрубями. Телёнок умиротворённо замолкал, а Нинка уже занималась сначала курицами, а затем и утками, которые буквально прилетали к ней с речки, не довольствуясь одними лишь улитками да жучками. Им тоже полагались корки, остатки варёных овощей и молочные ополоски. Когда, плотно позавтракав, животные дремали — каждое на своём месте, Нинка бежала в сад, к пчёлам, — смотреть, нет ли где роя. Обыкновенно, если день был пасмурный, роёв не случалось, но если парило, то... Словом, роёвню Нинка припасала заранее, а также дымарь и специального дымового гриба — трута. Одной собирать рой было трудновато, с мужем Сергеем она делала это в несколько раз быстрее, но муж летом работал, а потому приходилось ей потеть одной: и большую роёвню подставлять, и веником смахивать с веток агрессивных пчёл, которые всячески сопротивлялись, норовя залезть в рукава и под гимнастёрку. Причём хорошо, если рой высаживался на податливую вишню, отряхнуть которую было несложно, но если на упругую и колючую яблоню, то собирать его становилось сущим адом! Когда, справившись с очередным ретивым скопищем пчёл, она завязывала роёвню, у её ног хитро выстилалась неразлучная парочка — Мурка с Тузиком, тоже претендующие на её хозяйское внимание. Тут уж Нинка давала волю закономерно нахлынувшим эмоциям:

— Мурка, засранка, ты опять на подушке дрыхла? Как не стыдно, право, валяться с Тузиком в конуре на грязном тряпье, а потом лезть на мою белоснежную подушку?

Кошка в это время с невинным видом тёрлась себе об Нинкины ноги и бормотала что-то примиряющее на своём кошачьем наречии. На Тузика у Нинки пороку уже не хватало. Поэтому она стыдила сразу обоих в том смысле, что ладно-де эти сезонные лентяи, поросёнок с телёнком, но вы-то ведь тут «зля меня» всю свою жизнь, вы, что ни говори, свои, а ведёте себя, как эти... Но кто такие «эти», сама она положительно не знала.

Муж приезжал с болота часам к шести вечера. Нередко привозил чего-нибудь к ужину: то карсей из торфяного карьера, то мордовского сы-

ра (неподалёку от болота, на склоне высокого холма, раскинулось богатое село Берёзовка, испокон веку славившееся своими сырами), то татарской баранинки (среди торфоукладчиц было много татарок), а то и просто белых грибов, набранных по дороге. Грибы, особенно белые и маслята, Нинка наострилась жарить стремглав, минут за десять. В Дочкиной сметане (Дочкой звали ляпнёвскую бурёнку) они получались восхитительно. Сергей Михайлович над Нинкиными грибами просто млел! Уничтожив их с полсковороды, а то и поболе, он как-то незаметно отваливал от стола в сад под вишни, где у него всегда был наготове топчан. Следом устремлялись Мурка с Тузиком, после чего из-под вишен начинал доноситься храп с примяукиванием и прилаиванием. Впрочем, спал Нинкин муж об эту пору никак не более часа-полтора, после чего решительно вставал и отправлялся на край села к стадам, за коровой Дочкой. Потом Нинка принималась за вечернюю дойку, а муж Сергей Михайлович резал для Дочки белую — сахарную — свёклу. Она придавала утреннему молоку неповторимый вкус. Более всего Нинка любила вечернее сидение под окнами на лавке, когда всё уже переделано, а до сна ещё далеко. Они сидели с мужем полуобнявшись и говорили-говори-ли-говори-ли. Говорили всё больше о хорошем, к которому, между прочим, относили и тяготы минувшего дня. Нинка подробно рассказывала Сергею, как она, снимая со сладкой яблони рой, искала в пчелиной гуще матку, которую следовало придушить, потому что рой вышел из слабого улья и следовало его вернуть восвосяи. Сергей же, в свою очередь, поведал жене смешную историю о пьяном мордвине, который, собрав возле себя отдохнувших на обеде торфоукладчиц, стал демонстрировать им своё умение есть местную рыбёшку. Он брал живых плотвичек за голову и, откусывая всё остальное, начинал быстро жевать, блаженно закрывая при этом якобы от наслаждения глаза. Женщины смущённо смеялись, а мордвин безуспешно предлагал им сделать то же самое. В последний раз, повспоминав о минувшем дне, они заговорили о делах сельских. Сначала речь шла всё больше об услышанных Нинкой сплетнях типа — чем удивила всех председательша Софа на поминках у бывшего директора школы Николая Ивановича

Ручкина, опившегося два года назад внезапно завезённой в село, по распоряжению председателя сельсовета, разливной фруктовкой по полтора рубля за литр. Но постепенно перешли на живущие ныне в Меже личности, которые так же, как и они, Ляпнёвы, готовились к июльскому сенокосу и заготовке дров. Первым вспомнили Сёму Кривого с Новой Линии. Сёма был из бывших кулаков, но исправно воевал, и власти ему прегрешения его отцов и дедов охотно через его фронтовые увечья забыли. Сёма ко всему держал ещё и индюков, очень капризных и болезненных птиц. Но у Сёмы, говорят, они не болели, а регулярно приносили ему гору наивкуснейшей индюшатины, которую он исправно продавал в райцентре или обменивал через райпотребсоюз на дефицитные товары типа недавно приобретённых им «Жигулей», которых в свободной торговле не предвиделось и в дальней перспективе, как бы там Брежнев с Косыгиным и не хорохорились. Поэтому к Сёме следовало сходить, посоветоваться. «Может, хоть «Ижа» с коляской куплю, — размышлял про себя Сергей Михайлович. — Вот телка в потребсоюз сдам и куплю». А Нинка в это время размышляла о клюкве, которую в районе также охотно принимали, предоставляя взамен право на покупку разной дефицитной бытовой электротехники: холодильников «Маде ин Хунгари» и стиральных машин типа «Панония», «Рига» и, на худой конец, «Ока». Кое-кто из везунчиков разжился в районе и электрочайниками, и даже самогонными аппаратами (чёрт-те знает, кто и по каким каналам их там продавал!), которые тут же искоренили весь алкогольный дефицит в Меже, и даже в ночное время! Наконец как-то незаметно семейный разговор коснулся соседа Дивы, который по-прежнему был чрезвычайно далёк и от электрочайников, и от самогона. Нинка виновато пожалела его:

— И до коих пор он так, сердешный, маяться будет? Всё один, один, всё сам да сам. А зачем, если тех же дров выпиши вон в сельсовете — и живи себе спокойно? А ведь он, дурачина упрямая, без пальцев каждый день до лесу не по разу ездит на своей таратайке. Гордый, что ли, а?

— Да нет, гордыни вроде в нём ни на грош, — отвечал Нинке супруг. — Тут что-то другое. Какой-то хрен в компоте...

— Чего-чего? — не поняла мужа Нинка.

— Я говорю, странный он. Недаром Дивой и кличут, — отвечал уже внятно Сергей Михайлович.

— Слушай, Серёж, а давно он Дивой-то стал? Я что-то не припомню... — поделилась своими сомнениями Нинка.

— Да и я не припомню, — отвечал Нинкин муж. — Он сначала вроде на выселке жил. Но это давно было, до войны ещё. А когда я с фронта вернулся, он уж здесь избушку выстроил. Так что не странным я его и не знал никогда. И никто не знал. Мне иногда кажется, что он таким и уродился, только не здесь, а где-то там. — И с этими словами Сергей Михайлович указал Нинке куда-то на горизонт. Странно, но Нинка его сразу поняла и даже не переспросила для ясности, а где это — там. Оба они при этом посмотрели на отрезные концы облаков, начинающие пылать оранжевым закатом, на изуродованный остов храма, белеющий внизу на холме, и на стаю крупных, закладывающих посадочный вираж птиц, которые, видимо, целились заночевать в пойме разлившейся после недавних дождей речки.

— А давай его как-нибудь на чай пригласим? — предложила Нинка.

— Да хоть бы и не только на чай, — согласился муж. — Да ведь не пойдёт он. Придумает какие-нибудь сапоги всмятку и откажется.

— А может, и пойдёт, — не совсем согласилась Нинка. — Он меня всё ж середь остальных межаков выделяет особо. И советуется со мной иногда, и даже жаловался однажды...

— Да неужто? — не поверил Сергей Михайлович. — Чтоб Дива кому жаловаться стал... Да быть такого не может!

— Вот тебе и не может! — парировала Нинка мужнино неверие. — Возраст-то, он всех достаёт. Вот и у Дивы радикулит случился, да такой, что ни согнуться — ни разогнуться. Я ему прополиса завтра обещала, и яд змеиный где-то у нас был, в бане, кажись. Сходи-ка, Серёж, принеси!

Когда всё было благополучно найдено, Нинка достала маленькую, с виду совершенно игрушечную корзинку и, сложив в неё снадобья, довольной улыбнулась смущённому мужу.

## Глава четвёртая

Настроение у Дивы было хуже некуда. Ещё третьего дня ему приснилась лесная старуха типа кикиморы, которая ловко подставила ему ножку, а когда он свалился на почему-то тёплый болотный мох, дважды огрела его дубовой слегой по пояснице. И вот не прошло и двух дней, как острая нервическая боль прострелила всю его нижнюю часть спины и такими ветвящимися осколками отозвалась в правой ноге. Скептически относившийся ко всяким своим болям, Дива попробовал растереть себе задницу камфорным маслом, но лучше ему не стало. К фельдшеру идти ему страшно не хотелось, потому что, во-первых, он не очень-то доверял медицине в принципе, особенно после того, как хирурги отхватили ему пальцы, а во-вторых, фельдшером в Меже работала совсем ещё молодая девка, недавняя выпускница областного медицинского училища, и Дива стеснялся спускаться перед ней свои держась на тесьме порты. Но что же тогда делать? Как заготавливать дрова на зиму и сено для козы? Как окучивать картошку, собирать редиску, землянику в лесу? И что делать с пчёлами, если они вдруг зароятся? И тут возле колодца, охая при доставании бадьи, он увидел Нинку. К счастью, ему ничего не пришлось ей объяснять, она сама не преминула полюбопытствовать: а отчего это он так охает? Болит что? И видит Бог, никак не помышлял он о жалобах и сетованиях на здоровье. Но проклятый язык сам повернулся в эту постыдную для него сторону:

— Да вот, Нина, радикулит, кажись, у меня завёлся. И не думал-не гадал, что вообще когда-нибудь болеть стану, думал, что так и умру здоровым. — Выговорив последнюю фразу, Дива виновато улыбнулся.

Но в ответ Нинка только нахмурилась:

— Напрасно ты лыбишься, Иван Иваныч! Радикулит — это и не болезнь даже, а для нас, для деревенских, которые постоянно к хозяйству да к скотине пристёгнуты, сушая напасть! И не думай, Ваня, что само пройдёт. Сейчас давай дуй домой и до утра вылёживайся, а рано поутру я тебе всё, что надо, принесу.

Взгляд, которым ответил ей на этот посул Дива, Нинка потом помнила долгие годы. Никто и никогда на неё так не смотрел ни до этого, ни

после. Тут надо заметить, что Дива, видимо, любил Нинку, любил той скупой бобьельской любовью, которая не претендует на ответную, то есть абсолютно бескорытна, ничем плотским и вообще мирским не мотивирована, а потому воздушна, безмятежна и свята. А Нинка, придя домой, как мы уже упоминали выше, стала собирать для разбитого радикулитом мужика-одиночки тревожную аптечку, в которую помимо прополиса и змеиноного яда положила собственноручно изготовленный бальзам из полевых трав на топлёном масле и упаковку обыкновенного анальгина, которого у Дивы отродясь не водилось. Всё это она положила на комод под большое зеркало, в которое они нередко смотрелись с мужем на пару, сравнивая себя нынешних с теми, что смотрели на мир с альбомной фотографии довоенной поры. Легла Нинка рано, но долго не могла уснуть, невольно прислушиваясь к мужниным хождениям по веранде и на кухне, где он любил листать «Огонёк», «Известия» и ... «Войну и мир» Льва Толстого. Но вскоре сон сморил избегавшуюся за день женщину, и к ней пришли, как это уже случалось не раз, когда она чересчур переутомлялась за работой, порубежные видения. Они отличались от привычных снов тем, что как будто были и снами, и реальной действительностью одновременно. Когда они приходили к Нинке, то она, с одной стороны, осознавала, что спит, а с другой — были эти видения ещё реальней самой что ни на есть реальной жизни. На сей раз ей привиделся бесконечный ромашковый луг, по которому она бежит за лязгающей на ухабах чёрной телегой из кованого железа. А в телеге везут её тятку с мамкой, и с ужасом понимает Нинка, что увозят её родителей в какую-то даль недосыгаемую, увозят наверняка безвозвратно. И силится Нинка догнать эту страшную телегу, и вот-вот уже достаёт её на краю дороги, но лошадь вдруг наддаёт, и вновь отдаляется телега, поднимая над собой тучи мучнистой пыли. А Нинка всё торопится, всё прыгает и прыгает через луговые бугорки, кричит что-то несвязное и больное, но не слышат её сидящие в телеге, но упрямо глуха к её стенаниям кожаная спина возницы. И в другой раз почти настигает Нинка телегу, но та вдруг разом взлетает на поросший ивами пригорок и стремглав катится с него ко вдруг возникшему в низи-



не мосту через небольшую тёмную речку. И клочастый туман стоит над мостом, густой и жёсткий, как стена, и телега ныряет в него обречённо, словно увлекаемая каким-то особенным магнитом. И только мамка успевает крикнуть напоследок: «Прощай, доченька!» И с этим криком вываливается Нинка из своего тягостного сна, только эхо мамкиного крика ещё долго стоит в ушах, и слёзы не переставая бегут по щекам. И понимает тут Нинка, что ещё долго-долго будет вспоминать она этот сон по утрам, вставая на утреннюю дойку.

... Вот и сейчас, вытерев насухо слёзы тонким льняным рушником, она, прибирая ночную рубаху на себя, легко соскальзывает с кровати в стоптанные собачьи тапочки и, чтобы не разбудить поздно улёгшегося мужа, семенит на цыпочках на кухню, где у неё на печке висит рабочий халат, греются на кирпичках полушерстяные носки и стоят в припечье лёгкие чувяки без каблуков. Облачившись во всё это, она выходит на двор и ласково гладит уже ждущую её Дочку по тёплой, густо дышавшей травой и молоком морде. Потом возвращается на кухню, чтобы принести корове ведёрко с разными вкусами, которые та поглощает неторопливо и с достоинством, хоть и видно, что эта еда доставляет ей истинное удовольствие. Затем Нинка садится на низенький стульчик и аккуратно моет коровье вымя тёплой водицей, потом массирует его обеими руками и лишь после натирает соски топлёным маслом. Начинает доить Нинка неспешно, раздавая железы плавными упругими движениями, без резких рывков и натягов. В это время Дочка аппетитно хрустит свежим клевером, который Нинка загодя опустила ей в кормушку. Молоко пузырится в ведре, словно пиво, только пена на нем гуще и белее пивной. К слову сказать, Нинка пиво очень любит, только вот не возят его в Межу, разве что муж притянет из района сразу бутылок десять. Нинка спустит их в погреб и изредка достаёт по одной. Муж пива не пьёт даже после бани, предпочитая двойной перегонки самогон, согнанный из яблок, вишни, смородины и даже рябины. Самогон вовсе не пьющая его Нинка гонит лучше всех на селе. Это признаёт даже Лёня Раменский, который никогда не врёт. Подоив Дочку, Нинка разливает молоко по полуторалитровым глиняным кринкам,

накрывает их крышечками и спускает в подпол, кроме одной, которую оставляет для мужа. Скоро Сергей Михайлович начнёт кашлять застуженными на фронте лёгкими, потом сморкаться, потом греметь умывальником, харкать и ругать Брежнева типа: «Лёха, блин, когда ты только порядок в стране наведёшь?!», «Когда крестьян уважишь, начнёшь им зарплаты, пенсии нормальные платить?», «Что ж это у тебя только шахтёры да полковники получают, а все остальные с голыми жопами по стране мыкаются?» и прочее, прочее, прочее — до той поры, пока Нинка не крикнет в распахнутую на улицу дверь:

— Серёж, гони Дочку, она уже на задний двор пошла!

Сергей Михайлович вмиг забывает и про Брежнева, и про ненавистного ему Хруща, который ободрал деревню что твою сосёнку, и, ухватив возле входной двери походную трость, идёт к заднему двору — открывать Дочке проход на волю. Над селом стоит розовый туман, из которого то тут, то там пробивается собачья брехня, ещё не поставленные как надо сильные петушиньи тирады и крепчающие волны общего сельского шума, в которых мешается всё: и бляение овец, и меканье коз, и гаганье гусей, и перебранка не проснувшихся до конца хозяек, и наглый хохот вспоминающих минувший похмельный вечер мужиков, и чих колхозной техники, и летящий к дому со всех сторон щебет многочисленных прикормленных селом птиц. Сергей Михайлович салютует Нинке от сельской дороги, на которой уже обозначился сосед Иван Полубесов со своей Зорькой. Иван почти каждое утро бывает с похмелья, поэтому Нинка показывает встретившимся приятелям кулак. «Ещё чего доброго, — рассуждает она, — и мой из солидарности с ним полстаканки хватит. И не задастся день — к гадалке не ходи...» Но Нинкин муж знает об этом лучше самой Нинки, а потому он, конечно, постойт с Иваном и даже подержит ему стакан, пока тот достаёт немудрёную закуску, и даже закуси этой заодно с Иваном испробует, но пить в такую рань не станет. А зачем? Лучше вечером, после трудов праведных, в саду, в холодке, куда Нинка принесёт плошку груздей, солёных огурцов, мочёных яблок и облепленной укропом печёной картошки. И они будут сидеть под вишнями и калякать о жизни, о благополучных детях и ещё

совсем сопливых внучатах. И он обнимет её преданно, и заглянет с любовью в глаза, и станет целовать её волосы и руки.

### Глава пятая

Дива впервые доил свою любимицу козу Маньку, стоя на одном колене. Так у него хоть что-то получалось, хоть коза пару раз и недовольно взбрыкивала, заподозрив, что с аккуратным всегда хозяином нынче что-то неладно. Давала Манька Диве ровно столько, сколько он мог выпить и съесть в виде простокваши и творога. Словом, ела она пятую часть коровьего сена, а молока давала в треть. Это бережливого одинокого мужика даже очень устраивало. Тем более, что Маньку можно было и не гонять к стадам, ей нравилось и возле избы ошиваться. Дива так доверился своей мудрой козе, что в последнее время даже перестал её привязывать. Она и сама куда не надо не ходила. Вот и сейчас, выведя накормленную Маньку на лужок под окна, Дива, невольно ойкнув, осторожно опустился на верхнюю ступеньку, возле самой двери. Оторвав ровный лоскут бумаги, перегнув её по диагонали, он принялся было наживлять её самосадом, но в этот момент из-за забора вынырнула Нинка с небольшим мешочком в руках. На время забывший о её обещанном визите, Дива так и застыл с бумажным обрывком в одной и шепотью табака в другой руке. Да и рот его до поры оставался разинутым, как у Нинкиного Тузика в жаркую полуденную пору. Нинку это несколько развеселило, и она кивнула Диве на пасущуюся поблизости Маньку:

— Как доил-то, Иван?

— Лучше не спрашивай, Нин. Позор один, а не дойка. Ещё ладно, что никто не видел... — Дива обречённо махнул рукой — дескать, их с Манькой дело теперь табак. Не иначе. Но уже в следующий момент он с надеждой глянул на Нинкин мешочек и осклабился. А Нинка только этого и ждала:

— Давай, Вань, стели на лужайке какое-нибудь одеялко, а ещё лучше — овчинный полушубок, задирай рубаху и ложись на живот. Я сейчас тебя сама разотру, а ты, сердечный, запоминай! — И с этими словами Нинка развязала мешочек и лов-

ко извлекла из него несколько склянок со снадобьями. Ни разу в жизни ничего не лечивший, Дива несколько засмутился:

— А может, ты просто мне расскажешь, а я уж потом сам как-нибудь?..

— Вот именно, что как-нибудь, а тут надо строго по правилам, иначе не поможет. Мне Серёжа так и наказал, что если будешь упираться, то всячески принуждать тебя, пока не согласишься, понял? — Вид у Нинки был боевой, и Дива обреченно пошёл за полушубком, который носил по зиме. Кое-как задрав рубаху, он сначала встал на колени, как стрелец перед казнью, а уж потом с охами опустился на пахучий ворс овчины. Нинка села над ним как росомаха и стала что-то шептать в пространство. И странное дело, напряжённый как струна Дива постепенно расслабился, а вскоре и задремал. Ему даже сон хороший приснился, хотя до этого не снилось целый год совсем ничего. А последний сон лета прошлого года лучше бы и вообще не снился. А тут... розовый иван-чай до горизонта, и белый конь его неторопливо щиплет. И хорошо как-то кругом, светло и немного печально, и молодая Нинка подходит к коню и, ласково глядя у него за прядущими ушами, повязывает на конскую шею лёгкую голубую косынку из газа. А потом они втроём идут куда-то по розовому полю, и им радостно от предвкушения какого-то огромного всеобщего Добра. Дива потом плохо помнил, как Нинка с силой мяла его спину, как втирала в неё какие-то мази и как он весь горел под её сильными пальцами. Очухался он на домашней тахте, лёжа всё так же, лицом вниз. Рядом на тумбочке стояла кружка с пахучим травяным отваром, под ней белела записка, в которой, судя по всему, значилась инструкция по применению оставленных Нинкой снадобий. А сами они стояли на большом круглом столе посреди комнаты. Дива стал переворачиваться, хотел привычно охнуть, но у него не получилось. Боли не было. Он лихорадочно схватил записку. В ней сразу под инструкцией синей пастой было написано: «Иван! После растирания тебе станет легче, но это не излечение. Растирания надо повторять, сначала прополисом, а потом и змеиным ядом. Отвары пей три раза на день. Перед сном обязательно! В инструкции всё есть. Через пять дней должно пройти. Терпи и лечись. Нина».

Прочитав записку, Дива дотянулся уцелевшим безмянным правой руки до глаз и осторожно смахнул несколько крупных слезинок.

Между тем время уже катилось к полудню. Не привыкший бездельничать, Дива затосковал в постели. К тому же на место приятной утренней прохлады в избу заползала стойкая предобеденная жара. Становилось душно, пыльно и потно. Обтеревшись старым застиранным полотенцем, Дива взял коромысло, пару вёдер и направился к колодцу. Колодец был как раз напротив Нинкиного дома, и Диве не терпелось продемонстрировать Ляпнёвым, как он удачно лечится их снадобьями, как ему заметно полегчало уже после первых растираний. Проходя мимо Нинкиного двора, он специально громко чихнул, но реакции никакой не последовало, лишь Нинкин телок с надеждой поднял голову — не несут ли ему чего попить-поест, и, разочарованно топнув копытцем, стал тереться искусанной слепнями шеей о стоящую неподалёку иву. «Видно, в магазин ушли, — подумал про себя Дива. — Небось, за сахаром. Нинка хвастала, что земляники литров пять с вырубков припёрла. Да и клубника у них ещё не отошла. То-то варенья наварит! Самого вкусно. Факт. Надо бы и мне тоже, хотя бы из смородины. Бабы подсобят собрать из полу: половину мне, половину себе. А смородины у меня нынче непочатый край!» Воду Дива любил набирать неспешно, потому что колодец на краю села был особенный, с водой поистине волшебной, ледяной и звонкой, как специально отшлифованное стекло. Сначала Дива вывернул всего треть ведра и раз пять принимался из него пить маленькими глотками, невольно обливая себе таким образом грудь и живот. Ледяная вода бодрила, решительно прогоняла сонливость, запуская вдоль позвоночника вереницы шальных мурашек и знобкое ощущение глубинной подземной остуды. Неторопливо пережив эти глубокие ощущения, не раз переходящие в душе даже в подобия некоторых переживаний, Дива вновь отматывал цепь и теперь уже цеплял бадьёй по самый верх — так, чтобы при поднятии её из холодных недр колодца вода обильно лилась на его мшистые дубовые срубы и звонко падала вниз, на глянцевую рябь поверхности. Иногда видел Дива в колодце как будто бы своих тайных двойников, которые делали ему приглашающие знаки и хитро лыбились в

косматые чёрные бороды. Дива твёрдо знал (сам не понимая — откуда), что у него там, в той жизни, осталось трое братьев, которые время от времени давали о себе знать то неожиданной прорисовкой своих обликов на полуденном небе, то упрямым, непреодолимым зовом полуденного Сириуса, то знакомыми и родными всхлипами на вечернем пруду, то вот так в колодце, хитрыми ухмылками из-под влекомой валом бадьи. Между тем, поставив одно ведро на колодезную скамью, Дива опускал бадью за вторым. И вновь всё он делал неторопко, не пускал, как иные, вал во всю ивановскую, а медленно раскручивал его, с удовольствием слушая и звяканье цепи о ручку ведра, и гулкий постук бадьи о сруб, и её громкий плюх о поверхность колодезной воды. Потом бадья шумно захлёбывалась, со всхлипом выдавливая из себя воздух, цепь нервно натягивалась, и отягощённый вал начинал свою размеренную подъёмную песню: уфыр-уфыр-уфыр... Дива ещё раз прикладывался к ведру, минуто-другую стоял, о чём-то рассеянно думая, и лишь потом сажал вёдра на коромысло, которое плотно вдавливалось ему в плечи. На сей раз, пока донёс воду до избы, дважды стрельнуло в поясницу, и Дива тут же вспомнил Нинкину записку — дескать, надо растирать спину регулярно в течение как минимум пяти дней. Составив вёдра на кухне, он и взялся растирать по второму разу. Самому делать это было не совсем удобно, но Дива понимал, что другого выхода нет: за независимость надо платить. И он платил, прекрасно понимая, что платить ему не переплатить ещё ох как долго, возможно, до скончания жизни.

## Глава шестая

Вечером по привычке Дива слушал по радио девятичасовые новости. Радио у него было допотопным, ещё с предвоенной поры. Оно представляло из себя чёрную эбонитовую коробочку с колёсиком звука, обклеенную с обеих сторон чёрной же просмолённой бумагой в виде рупора. На подоконнике имелся у Дивы и радиоприёмник «Альпинист», но он предпочитал слушать «рупор», всего одну, зато очень внятную программу, по которой ещё совсем недавно говорил сам Левитан. По ней люби-

мый всеми детьми страны сказочник Николай Литвинов рассказывал детям про Бабу Ягу и Маленького Принца, а сатирик Аркадий Райкин доводил собиравшихся на работу взрослых до колик в животе и полного неприятия спускаемых сверху глупостей. Ещё не успели до конца доложить про погоду, как неожиданно для Дивы в дверь настойчиво постучали. Дива поспешно откинул крючок, и из сеней, прямо к нему на кухню протиснулся угловатый как скала Сергей Михайлович, а за ним и Нинка прошмыгнула. Тут они встали возле печки, что твои Филимон с Бавкидой, и какое-то время, неопределённо глядя друг на друга, подавленно молчали. Наконец Нинка проговорила с нарочито беспечным выражением:

— А мы, Иван, уж прости, по-соседски вот решили тебя проведать, потому как ты есть большой и не женатый ещё. Вот блинов тебе принесли со сметаной и магазинной булки, потому как ты сам нынче до магазина ходок неважный. — С этими словами Нинка выложила на кухонный стол небольшой газетный свёрток и пол-литровую баночку с белым содержимым. Дива в ответ лишь смущался да блуждал беспомощно взглядом, не решаясь сказать что-либо определённое. И тут вдруг Нинка остро почувствовала изначальную ненужность этого визита и тот досадный конфуз, в который они, дураки правильные, ввели этого, очевидно самим Создателем обречённого на одиночество, человека. А он и в самом деле то ли по неопытности, то ли по доброте душевной просто не знал, как себя вести с ними. И тогда она, незаметно дёрнув мужа за рукав, громко проговорила в сторону Дивы:

— Ну, вот и ладно, Иван. Натирайся, выздоравливай, видим, что тебе уже лучше стало, — с этими словами Нинка вопросительно посмотрела на Диву. Тот, словно почувствовав облегчение, согласно закивал. И она, тоже в это мгновение всё для себя решив, закончила начатую мысль: — А мы, Иван, извиняй, пойдём. Работы дома — непочатый край! Смородину пора собирать, и вишня на подходе! Да и рои замучили, собаки! — Нинка ещё раз дёрнула Сергея Михайловича, на что тот тоже произнёс что-то в том духе, что действительно пора и что при случае они всегда готовы прийти на помощь.

С этим Ляпнёвы и откланялись, разрядив

неловкую ситуацию. Отойдя от Дивиной избы на пяток саженей, Сергей Михайлович в свою очередь дёрнул Нинку за рукав кофточки и с полным непониманием на лице требовательно спросил:

— Так зачем мы ходили-то, ёлы-палы? Я думал, ты ему спину разотрёшь, а я пока пчёлку его погляжу, козе корму задам, за яйцами курьими на гнёзда слазая.

— Серёж, не обижайся ты, ёлы-палы, — попросила стусевавшаяся Нинка. — Он хороший, но совсем не то, что мы с тобой. Ему посторонние люди противопоказаны, как старообрядцу — городские красавицы. Сам он и козу накормит, если его коза вообще что-либо сейчас ест, кроме травы, и до яиц как-нибудь доберётся, и пчёлы его любят, не роятся почти. Зря мы пришли, в общем, он не любит, а скорей всего, просто не может быть кому-то хоть в чём-то обязанным. Помнишь, мы с тобой «Робинзона Крузо» читали?

— Ещё бы! — с нескрываемым восхищением воскликнул Сергей Михайлович. — Самая дельная книженция. Я её и без тебя ещё дважды потом перечитывал.

— Так вот, — заставила замолчать мужа Нинка. — Стало быть, ты помнишь, как Робинзон завёл себе друга из папуасов, как научил его говорить на своём языке, а потом и окрестил. Думаешь, зачем он это сделал?

— Да тоскливо ему было одному, хоть в петлю лезь, — почти не задумываясь, отвечал муж. — Собака у него издохла, а человеку одному — труба.

— Вот именно, обычному человеку... — голос Нинки дрогнул. — А такой, как Дива, не стал бы себе заводить никаких друзей. Может, завёл бы ещё одну собаку вместо издохшей. Он по самой сути своей одиночка. Такие встречаются, хоть и очень редко, и, как правило, немного всё же общительней, ну и попроще, что ли, чем Дива. Так, у нас в Меже есть ещё такой Питилка. Мне его жена жаловалась, что за сорок лет, что они живут вместе, он сказал не более сотни слов. А ведь у них и дети есть, и внуки.

— Слушай, а ведь точно, — согласился с женой Сергей Михайлович. — Он и водки с нами никогда не пил, и поросят колот сам, втихаря, а спросишь чего, так и ответа-то никогда не последует.

Все уж привыкли. Его даже и кличу- то Нипелем — дескать, туда дуй, а обратно... хрен! Я сначала думал, что это он из жадности такой, ну, чтобы не тратиться там ни на что. Ан нет. Тут недавно соседке своей Агафье Прокиной, у которой дочка от рака умерла, дал на похороны и поминки сотню целковых и сказал, чтоб и не думала отдавать. А старику Петру Семёнычу Вахиреву, ему девяносто восемь недавно стукнуло, вырыл на огороде колодец, чтобы, значит, дедушка за водой так далеко не ходил. А я тебе скажу, нынче за колодцы меньше двух сотен не берут! Вот так.

— Знаешь, Серёж, Дива, конечно, разговаривает, общается, но только не с людьми, — поделилась с мужем своими наблюдениями Нинка. В это время они как раз проходили мимо своего сада-огорода. — Видишь вон, сорока сидит на вишне? Мы их дубинкой гоняем, чтобы ягод, собаки такие, не портили. А он выйдет к садовой калитке, посмотрит на них, и они — готово... сами улетают. А однажды я видела, как он с козой своей Манькой разговаривает. О, это чудеса Христовы! И ведь коза ему отвечала, ей-богу! — Нинка перекрестила лоб и указала мужу на усыпанную плодами яблоню:

— А с деревьями как он говорит! Прислонится щекой к стволу и что-то нашёптывает, а лицо в это время у него такое... такое... — И было Сергею Михайловичу видно, что его умнейшая Нинка не может подобрать нужных по случаю слов.

— А отчего он такой, Нин, а? — спросил с тревогой и даже некоторым испугом Сергей Михайлович. — Мы ведь с тобой тоже вроде не упёртые, как, к примеру, продавщица из сельмага Дуська Дрожилкина. У той, хоть и всякого обсчитать норовит, всё равно после каждой ревизии недостача. И читаем, и кино смотрим, и в город катаемся, и лес не меньше Дивы любим, но мы вот такие, а он совсем другой... Непонятный, я бы даже сказал, убогий, если бы не видел, как он косит, столярит или там дрова колет.

— Ну и как? — с вызовом спросила Нинка.

— Как-как... — растерянно отвечал муж. — Ты знаешь, что я кошу так, что всякий позавидовать может. Беру широко, кладу плотно: за мной разбивать да ворошить — одно удовольствие! А он...

— Что он? — нетерпеливо переспросила Нинка. — Берёт уже и кладёт жиже?

— Скажешь тоже. Жиже... Во-первых, когда

он косит, даже звука никакого нет. Как будто коса и травы не касается вовсе. Знаешь, я наблюдал. Это колдовство какое-то! Вот он ведёт косу, а трава как стояла — так и осела. Не косит он, а бреет. После его косьбы ни одного вихра не остаётся. Короткое окосиво, как на городском стадионе. И столярит так же. Особенно топором мастерски орудует, ему ни рубанок, ни фуганок не нужны. А раз я видел, как он топором бреется...

— Да иди ты, Серёж! — высказала недоверие Нинка. — Это же из сказки какой-то или анекдота.

— Вот тебе и сказка! Сказываю, бреется топором — значит, так оно и есть, — злился всерьёз Сергей Михайлович. — Я тебе хоть когда-нибудь врал?

— Когда замуж звал, — смеясь отвечала Нинка, краснея до самых кончиков волос. — Наверал моему бате, что лошадь купил и борону на сельповском рынке.

— Ну так ведь он тогда собирался тебя за Костю Бороздова выдать, — стал без особого желания вспоминать Сергей Михайлович. — Того тогда на новый трактор посадили, начал он зарабатывать, вот и... Ну, пришлось. Что тут делать было? Да ты чай сама меня и надоумила. Я помню!

— Ладно, убедил, — согнала с лица улыбку Нинка. — А что ты там про дрова говорил? Их, по-моему, все одинаково колют.

— Но не Дива, — не соглашаясь, замотал головой Нинкин муж. — Этот два раза по одному полену сроду не ударит. Он каждое сначала изучит — причём стремглав, а потом уж бьёт ровно туда, куда только и надо, — в аккурат по поговорке «где тонко, там и рвётся». Строеение, структуру дерева он знает куда лучше нас с тобой, и даже не знает, а чуёт. Нутром! Я однажды видел, как он не колуном даже, а обычным топором комель берёзовый в два обхвата расколел! Никому такое не по силам, а ведь Дива далеко не Иван Поддубный, ему даже до меня далеко. И тем не менее... А трельяж ты у него в избе видела?

— А то! — Нинка даже обиделась, что муж спрашивает её про такие очевидные вещи. — Разве ж такое не заметишь? Зеркало на пол-избы! А он, знаешь, сядет перед ним и давай усищи свои подкручивать! Удобно, небось, наблюдать свою внешность сразу в трёх зеркалах? А ещё меня его

тюль смущает. Навешал его и где надо, и где не надо. Хоть бы тогда не курил дома-то, а то ведь весь тюль жёлтым станет...

— Да ладно тебе, не злословь ты, — пробовал урезонить жену Сергей Михайлович. — Живёт он один-одинёшенек, а трельяж, тюль — всё ж таки признаки семейственности, уюта. Вот он их купил... вместо того, чтобы жениться.

### Глава седьмая

После трёх дней растираний Дива почувствовал себя совсем уверенно: поясница гнулась, как у молодого, в ногу не простреливало, и весь позвоночник — от шеи до копчика — ощущался как единое здоровое целое, а не как узловатое непредсказуемое нечто. «Нет, пару деньков, как наказывала Нинка, я ещё полечусь, — рассуждал Дива. — Мало ли что? Откуда он берётся, радикулит этот? Поди узнай! Простуда, язва, нарывы там разные — это всё напасти известные, а потому их можно избежать. А радикулит... он как снег на голову. От него не уберечься». Рассудив так и несколько этим себя успокоив, Дива решил прогуляться до магазина — посмотреть чего-нибудь к чаю. Обув клеёнчатые чуквыки и перекинув кирзовую кошёлку через плечо, он двинулся к спуску, такому устройству между двумя сельскими прудами, которое позволяло стравливать воду из одного пруда в другой. Устройство представляло из себя бетонный шлюз с опускаемыми и поднимаемыми деревянными воротами. Когда проходили дожди и вода в верхнем пруду заметно поднималась (в него, кроме того, впадала и небольшая речка), специальный дежурный поднимал шлюзовую дверь-заглушку, и лишняя вода спешно уходила в нижний пруд, который, в свою очередь, стравливал её ещё ниже, в прокопанный межаками канал, который разносил эту воду по многочисленным сельским садам и огородам, на которых также имелись свои небольшие прудки для полива. Над шлюзом пролегал прочный деревянный мост, по которому Дива и ходил к центру села, как и все остальные межаки из домов, что лепились ближе к лесу. За спуском Дива почувствовал неприятный запах горелой шерсти, который усиливался по мере продвижения его к центру села. А вскоре он увидел перед собой, за поворотом,

и столб серого дыма, который медленно расползался над крышами центральной Межи. Невольно ускорившись и быстро дойдя до поворота, он увидел объятый пламенем магазин и снующих вокруг него женщин, которые непонятно что делали. Тут до него стали долетать вопли, из которых следовало, что в магазине, то есть в пламени, остались люди. Дива побежал. Уже через минуту-другую он вышибал принесённым кем-то топором тяжёлые магазинные рамы, которые никак не хотели поддаваться. Тогда соседствующий с магазином кривой Архип, по кличке Заноза, притащил лом, которым Диве, в конце концов, удалось подцепить среднюю на фасаде раму и опрокинуть её вовнутрь. Из оконного проёма тут же рванул густой дым, в котором Дива под вопли собравшейся публики (кроме женщин, к магазину прибежали несколько стариков) там и скрылся. Появился он всего через минуту, и не один, а с каким-то сухоньким тельцем на руках. С тельцем он не церемонился, а буквально перекинул его через подоконник, прямо на траву. Минуты через две он принёс ещё двоих: женщину и совсем малюсенькую девочку, которых тут же принялись откачивать. В это время часть горящей кровли обвалилась внутрь кирпичного строения, и Дива вывалился из магазина и сам. Когда задохнувшиеся в магазине пришли в себя, послышались звуки пожарного рожка. Это местная пожарная лошадь везла к магазину бочку с ручной помпой. Сам же местный пожарный белобилетник Колька Семёнов был, как водится, сильно пьян и чрезвычайно недоволен пожаром.

— Ну что, в вашу мать, горите? — спросил он испуганных старух. — А ведь я вам говорил, чтобы не курили на складе. Там ведь пакли полно, а она как порох: раз — и на тебе факел! — С этими словами Колька забрался на телегу и через минуту-другую уже направлял струю в проём, куда провалилась часть кровли. Вскоре пошёл белый дым, и приехали районная пожарка и скорая. В последнюю уложили вынесенную первой из магазина сухонькую старушку, которая отравилась угарным газом и была готова вот-вот отдать богу душу. Ей тут же поставили капельницу и дали кислороду... К Диве стали было лезть с расспросами и благодарностями, чего он по природе своей никогда не любил. Поэтому он незаметно завернул за угол и широкими семимильными ша-

гами понёсся к клубу. Там, слава богу, никого не было и можно перевести дух. Отдышавшись, он увидел на повороте к магазину милицейский «воронок», над которым бешено вращалась тревожная мигалка. Диве стало как-то нехорошо, потому что он предвидел скорые допросы. Они и начались... уже этим вечером. Диву, как он ни прятался, разыскали быстро, ибо Межа помнила своих героев. Только вот допрашивали его вовсе не как героя, а в лучшем случае как «пока» свидетеля. Причём следователь из района дал понять, что если Дива и далее будет так же «изгаляться», то он, капитан милиции, откроет на него уголовное дело на предмет поджога. После этого отвечающий односложно Дива замолчал вовсе, поскольку положительно не понимал, чего от него добивается этот светловолосый желчный человек с водянистыми глазами. И вообще, от ареста Диву спасла Нинка, которая на ухо сообщила капитану, что Дива просто больной, то есть «не совсем того» (при этих словах она характерно повертела у себя пальцем возле виска), после чего тот сразу как-то успокоился и поехал по порядку допрашивать других очевидцев.

— Я же тебе, Иван, говорила, чтобы лечился. Какого рожна ты в магазин попёрся? Сидел бы дома — никто бы к тебе и не приставал.

Дива на это ничего не отвечал, но смотрел на Нинку с пониманием и благодарностью. После этого он не ходил в центр почти неделю, окончательно залечивая свой радикулит и заготавливая сено и дрова. Траву он косил в овраге за колхозным полем. Но сушить на месте косьбы не решался, боясь каких-нибудь кар со стороны либо властей, либо частных лиц, которые запросто могли посчитать эту траву своей. Поэтому он скашивал ровно столько, сколько помещалось на его тачку. Укладывал траву граблями, перетягивал её верёвкой и рысью вёз к себе под окна, где благополучно и сушил на июльском солнышке. За дровами он ездил в березняк ближе к вечеру. Здесь он выискивал сухостойные деревья, которые валил при помощи ножовки и топора. Если сухостоя не хватало, он докладывал тачку валенником, который использовал для растопки. И за эту неделю его поленницы в сарайке существенно выросли. Но через неделю совсем вышли продукты и хлеб, и он пошёл в ларёк, который торговал неподалёку от сгоревшего магазина.

Собственно, ларьком называли обычный магазин, разве что несколько поменьше сгоревшего. Теперь он стал в Межу основным и торговал против прежнего с восьми до восьми. Дива пришёл в ларёк ближе к вечеру, перед тем как идти к стадам за Дочкой. В помещении было людно. Народ стоял за растительным маслом, две бочки которого привезли из района после обеда. Заодно люди покупали хлеб, пряники и, разумеется, водку. Впрочем, местные опойки нажимали больше на «Агдам», дешёвый, но весьма суровый портвейн, который и пился легче водки, и по ногам бил что надо. Войдя в заведение, Дива первым делом громко со всеми поздоровался, тут же уловив особое к себе внимание. Опойки, глянув на него с откровенной опаской, ретировались куда-то внутрь очереди, где их было совсем не видно, а вот старушки, напротив, обступили Диву со всех сторон и стали его нахвалять да славить, как настоящего межевского героя.

— От, — указывали они на него местным щедушным мужичкам, — не побоялся ни огня, ни дыма, а полез прямо в пекло енто и спас людёв. А коли бы не он, так схоронили бы нонче и Пашку Емелину, и Грушеньку с Бутырок, и внучку её Поленьку.

— А вы, бабы, в газету напишите, в «Сельску трибуну», — посоветовал Заноза. — Можя, Диве кака награда полагаются? Или вон хоть ентому оглоеду, Грищенке. Нехай его, раз он наших граждан спас, местна советска влась поощрит!

— И напишем! — заорали бабы решительно. И было видно сразу, что никуда они не напишут. Но Диву это нисколько не волновало. Главное, чтоб впредь с допросами не лезли и чтобы этот с рыбьими глазами больше не приезжал в Межу. В это время из дальнего угла магазина, ровно оттуда, где стояла вторая бочка с маслом, стал доноситься сначала недовольный ропот, а затем и громкие вопли возмущения. Присмотревшись, Дива увидел испуганного пастуха Колю Жесткова, которого с обеих сторон крепко держали под руки дюжие колхозницы. Тут же кто-то навесил Коле крепкую оплеуху, затем вторую. Потом его повалили на пол и начали месить ногами, более других старались опойки, целясь в лицо, нос, скулы и по вискам. Тут до Дивы как-то сразу дошло, что пастуха попросту убивают, что это массовая расправа и что на фо-

не расследуемого пожара всё кончится для мезаков тюрьмой. Он громко выкрикнул:

— Стоять!

Все встали и, ословело глядя на Диву бешеными глазами, долго соображали — а что это со всеми ими происходит? Коля ворочался на замазанном кровью полу и жалобно стонал. Наконец один из только что pinaвших пастуха, державший в правой руке бутылку «Агдама», глухо спросил у Дивы:

— А нафига он в бочку с маслом нассал? Мы что, скоты, али как? — в каждом слове сквозила пьяная ненависть. Все согласно зашевелились.

И вдруг Дива улыбнулся своей застенчивой и в этот момент несколько виноватой улыбкой:

— Бочку, конечно, жалко. Но что толку убивать-то? Пусть лучше он масло возвращает, раз испортил! А так убьёте его — и что с того? И масло вернуть некому будет, и вас всех пересажают.

После этой реплики наступила гробовая тишина: народ явно обмозговывал только что высказанную Дивой перспективу. И она обществу явно не понравилась. Колю подняли с пола, дали ему под зад и вернулись к закупочному процессу. Диве же так никто ничего и не сказал: все с ним, очевидно, согласились, но молча, без признания своей горячности и глупости. Ну, не любили в Меже каяться. Тоже, кстати, хорошая, не типичная для русских черта. И Дива уже не впервой обнаруживал это в своих земляках. Вернувшись домой, Дива поставил в запечек только что купленную в ларьке «маленькую», выложил в ящик хлеб, опустил в подпол несколько банок рыбных консервов, которые любил употреблять с картошкой и малосольными огурцами. Потом принёс из сени веник и торопко произвёл в избе лёгкую уборку, отложив мытьё полов на потом. «А сегодня, — проговорил сам себе, — я истоплю баню. Прежде всего, она плохую память отбивает, что мне нынче — в самый раз. А потом... пропарю спину хорошенько. Авось радикулит больше ко мне и не вернётся!» С этими словами Дива принёс из чулана два берема первоклассных берёзовых дров, заготавливаемых им именно для бани, которую считал для себя самым лучшим отдыхом, а где-то даже и развлечением. Потом наколот он из двух поленьев аккуратной лучины, которую сложил шалашиком в печке, ровно над полудюжиной трубочек оторванной от одного из поленьев

бересты. Лучина, а следом за ней и полешки занялись с первой спички. Тесное банное пространство наполнилось едким берёзовым дымом, и Дива сначала вышел в предбанник, а затем и на волю. Глянул на банный конёк. Синий дымок легко вился из печной трубы. Вода, как в чан для подогрева, так и в нижний бак для окачивания, была им наношена заранее. Он возил её из Нинкиного колодца в двух алюминиевых флягах. На сей раз, опасаясь ревматизма, он не стал поднимать тяжёлые шестидесятилитровые фляги за ручки, а преднамеренно вычерпал их до половинны ковшиком. Подбросив в прожорливую печь ещё полберемени дровишек, он пошёл глянуть на пчелиные наставки. Для этого ему пришлось водрузить на голову специальную маску по типу накомарника и натянуть на всякий случай матерчатые перчатки. Но пчёлы на сей раз вели себя вполне мирно, лишь одна случайно куснула его в указательный палец, пробив-таки своим жалом перчатку и затравленно при этом загнусавив. Он знал, что пчела после укуса подышает, а потому растёр её на куске белой марли и некоторое время с удовольствием вбирал ноздрями её острый лечебный дух. Обследовав пару рамок, Дива пришёл к выводу, что пора делать первую качку. Цвет в этом году был что надо, погода пока что тоже не подводила, а потому явно пчёлы натаскают и на вторую. Это Диву чрезвычайно обрадовало, потому что мёд был едва ли не главной статьёй его скромных доходов. «Надо завтра к Ляпнёвым за медогонкой сбегать, — с неутихающей радостью подумал он. — Заодно их вареньем из одуванчиков угощу. Они, чаю я, такого николи не ели». Дрова в бане за это время вновь успели прогореть, и Дива добавил ещё, теперь уж в последний раз, поскольку вода в чане стала обжигать руки. Когда прогорели и эти, он достал чёрную прокалённую кочергу и стал ворошить угли по всей печи, чтобы догорали до конца и не дымили, поскольку угорали в Меже довольно часто, особенно по пьяному делу. До смерти, правда, угорели лишь раз, но головы у горе-баншиков болели довольно часто. Когда угли побелели и практически перестали шелестеть, Дива прикрыл задвижку на трубе и стал копить жар. Копил он его не менее получаса, после чего взял чистое исподнее и, покрякивая, вошёл в продымлённый предбанник. Здесь на лавке он неторопливо разделся, снял с сушил но-



вую мочалку и шагнул через высокий порог в саму баню. Жару тут накопилось выше крыши. Самое время париться. Парился он на невысоком полке, предварительно плеснув в печную лунку пару ковшей горячей, которая тут же превратилась в пар и кинулась на распростёртое Дивино тело. Дива обмахивался сразу двумя вениками — берёзовым и дубовым. Берёзовый вкусно пах, а широколистный дубовый давал больше жару. Парился он трижды, всякий раз обливаясь холодной колодезной водой и переводя дух в прохладе предбанника. В бане духмянило зверобоем, чистотелом и ромашкой. Добавлял Дива в припарку и мяты, и клевера, и медуницы. Напарившись до одури, мылся Дива вяло, без особого удовольствия, как говорится, по необходимости, а помывшись, долго пил чай прямо здесь, в сосновом предбаннике, из раскочегаренного сапогом самовара. Потом, вытерев третий пот, Дива надел кальсоны с рубахой и, кое-как вставив распаренные ступни в чуваки, прошёл в избу, где его ждала четвёрка водки и аккуратно нарезанные малосольные огурцы с картошкой и хлебом. Ничего сколько-нибудь «тяжёлого» Дива после бани не едал. Водку он тоже никогда не допивал до конца. Ему вполне хватало ста-ста пятидесяти граммов. Единственный раз он выпил гораздо больше, и это стоило ему половины пальцев. И вообще, он выпивал лишь для «радости мысли» и того розового полусна, в котором он обычно пребывал некоторое время после пропарки лесными травами и специальным мхом-долгунцом, который всякий раз забирал его сознание и уносил его куда-то далеко-далеко, к падающему за окоём солнцу. Всего однажды он рассказал об этом заплутавшему в их лесах городскому поэту, которого он привёл к себе в избу, напоил чаем и дал ночлег. И тот примерно через месяц прислал ему короткое стихотворение, написанное как бы от имени самого Дивы. И заканчивалось оно так:

*Кажется, где-то там,  
В гаснущих окнах дня,  
Сняли квадраты рам,  
Сели и ждут меня.*

Не единожды вспоминая эти строки, Дива всякий раз удивлялся точности ощущений, которые он испытывал вечером после бани и

которыми поделился только раз, с этим пришлым молодым человеком. И как это сумел почувствовать и передать городской парень, молодой, модный, суетный?

## Глава восьмая

А в эти самые миги, когда Дива летал к закату солнцу, председатель сельсовета Самсон Ищенко размышлял над тем, что ему делать с этим окаянным магазинным пожаром. А тут ещё, как доносил Заноза, в ларьке, куда после пожара переместились основные массы платёжеспособных межаков, этот пьяница пастух, это животное Жестков умудрился помочиться в только что привезённый дефицитный продукт. «И как это у него, гада, получилось? — задавал себе невероятно сложные вопросы председатель. — Ведь пробка у бочки находится на самом верху, так сказать, на верхней крышке. Что он, залезал, что ли, на эту бочку, как на унитаз? Так ведь и унитазов-то в Меже всего два: у меня да у Небольсина, остальные в ямы валят. И ведь кругом люди в это время стояли! Заноза говорил, что ларёк был под завязку. Неужели никто не видел, не остановил этого негодяя, ведь масла-то прислали только-только?.. Ну и народ, блин! Сено вовремя убрать — дождь мешает, навоз с фермы — транспортёр сломался, а совершить какую-нибудь мудрёную пакость — это у них запросто. Нет, за такую выходку, случись она в войну, я бы этого Жесткова под расстрел подвёл. Впрочем, по словам Занозы, народ там тоже едва этого ссуна не порешил, да Дива помешал. Хорошо, конечно, что обошлось без смертоубийства, но досадно, что опять Дива: то людей из огня вызволяет, то пресекает самосуд. Этак он у меня весь властный авторитет утамит! Надо что-то делать. Как-то его подставить хоть, что ли... Говорят, он не от мира сего, открытый и доверчивый. Это хорошо, этим мы и воспользуемся». И, решив так, Самсон Юлианович томно воззвал на кухню, из которой доносились дивные запахи тушённой с хреном и сметаной куры:

— Софа, я весь в ожидании твоей божественной стряпни!

На что последовал лаконичный ответ:

— Айн момент, Самсоша! Я уже в пути.

Высоко оценив это «Я в пути», Самсон Юли-

анович с чувством опрокинул в плохо выбритую пасть гранёную стопку вишнёвой горилки и тут же стал заправлять за неживой воротник кримпленовой рубахи бумажную салфетку.

Сергей же Михайлович примерно за полчаса до того, как Ищенко с утробным стоном вонзил свои зубные протезы в куриную гузку, лечил приболевшую ногою пеструху, которая неслась вдвое чаще остальных обитателей домашнего курятника. Ногу пеструхе, видимо, отдалив на дворе глупый телёнок, который ещё не усвоил привычек спокойной матери, а напротив — топтался по всему двору в вечном нетерпении. Успокаивая пеструху плавными поглаживаниями по хохолку, Сергей Михайлович наложил раненой шину, крепко примотав её к тощей костлявой ноге специальным бинтом, пропитанным мазью от ушибов. Освободившись из рук хозяина, курица дважды клюнула раненую ногу и бодро заковыляла к своим товаркам, которые смотрели на её гипс несколько диковато. В это время скрипнула кухонная дверь, и Сергей Михайлович понял, что его Нинка направляется на двор доить корову. Поскольку Дочка этим вечером вела себя беспокойно, Сергей Михайлович отрезал в сенцах краюху чёрного хлеба и посыпал её солью.

— На вот, — протянул он хлеб выскользнувшей в сени жене. — Дочка сегодня с быком гуляла и немного не в себе. Я ей в серку немного валерианы подложил, и хлебца пусть пожуёт. Глядишь, и успокоится.

Нинка с благодарностью взяла хлеб и приложилась к его щеке тёплыми губами.

— Серёж, ты про Диву-то слышал? — спросила она, перекладывая подойник из руки в руку.

— Это про людей, которых он из магазина вытаскивал? — задал риторический вопрос Нинкин муж и, конечно же, сам на него и ответил: — Молодец он, слов нет, только вот, говорят, его допросами замучили, словно он не спасатель, а поджигатель. И хоть бы кто заступился, сказал бы что-нибудь в защиту, как свидетель. Полсотни человек это видели и все молчком рассосались то ли из боязни, то ли из зависти...

— Да равнодушие это всё, Серёжа, наше русское авось: авось без нас разберутся, без нас нагрядают, без нас осудят, без нас изберут и так далее. Всё без нас, и мы тоже сами по себе. Жизнь, она всегда всех расставляла по своим местам — кто

чего стоит. — Нинке явно не нравилась философия своих земляков. Но она сказала о другом: — Нет, я не про пожар. После него ещё один случай вышел, в ларьке. — И Нинка рассказала мужу про пастуха Колю, бочку с маслом, расправу и то, как Дива эту расправу остановил, предотвратив тем самым новый круг допросов и сразу несколько тюремных сроков для местного мужичья, которого в Меже осталось и так кот наплакал!

— Мудрый поступок! — искренне похвалил Диву Сергей Михайлович. — Жестков, конечно, человек с изьянами, но, как говорится, не нам решать, скоко ему в сей жизни назначено. И вообще, может, он ещё и героем станет? — заинтриговал жену Ляпнёв.

— Это как же, интересно? — с сомнением в голосе спросила Нинка.

— Да очень просто! — отвечал повеселевший муж. — Сегодня он в наше масло напрудил, а завтра нашему председателю за шиворот навалит! Во хохма будет! На весь район.

— Серёж, я его тоже не люблю, — призналась Нинка. — Склизкий он какой-то, с двойным дном. Помню, бывало, говорит, говорит... минут двадцать, а уйдёт куда, и враз ничего не помнишь: что говорил, о чём, для чего? Думаю, что волей-неволей мы с ним ещё пересечёмся. Знаешь, я тут его с Дивой сравнила...

— Это ещё зачем? — выразил недоумение муж.

— Да знаешь, произвольно как-то получилось, по контрасту, что ли: чёрное — белое. То есть Дива — вольно или невольно — ведёт себя по жизни в полный противовес Ищенко. Как специально, хотя понятное дело, что это не так.

— Это как? — ничего не понял Сергей Михайлович. — Ты, Нин, поясни.

— Ну, Дива напрочь отрицает всё из того, что говорит и делает Ищенко. А Ищенко — полное отрицание Дивы. То есть председатель наш много болтает и всегда на людях. А Дива, наоборот, почти немой и нелюдим. Краснобай Ищенко почти ничего не делает, а неразговорчивый Дива помогает везде, где в этой помощи возникает хоть какая-то необходимость, — проговорила Нинка, постепенно светлея лицом от собственных выводов.

— Ну, Нинка, тебе бы в академии преподавать! — восхитился Сергей Михайлович и вдруг вспомнил об Ищенко: — Знаешь, он, увидав у ме-

## Глава девятая

ня Толстого, сказал как-то, что тоже очень любит читать, но почти не читает, потому что всегда стремится быть на людях... Решает, мол, вопросы, а чтение, дескать, дело уединённое, не по нему. В общем, Нин, не наших он кровей, не наших правил. Тягостно ему с самим собой. А почему? Может, совесть не чиста или боится чего-то. Вот и семенит ножками, словно спешит куда-то, а скорее всего, от чего-то.

Согласно кивнув, жена шагнула на двор, где её терпеливо дожидалась загулявшая этим днём Дочка. Вскоре, уже дёргая за коровьи соски, Нинка сообщила мужу недовольным голосом:

— Серёж, нынче парного лучше не пей, я тебе давешнего из подпола достану. Полыни она, сердешная, наелась. Так что...

— Да я Дочкиного и с горечью выпью, — не согласился с женою Сергей Михайлович. — Полынь не белена, пиво вон тоже горькое, а ты же его любишь?

И, покрывкая, он полез в подпол жене за пивом, решив по ходу и сам выпить. По его подсчётам, прошлогодняя медовуха, которую он не пробовал с зимы, должна была набрать уже градусов пятнадцать-семнадцать! А главное, тщательно процеженная, она уже давно высветлилась, «съела» лишний сахар и теперь уж точно не расслабит живот. Когда Нинка принесла пенящийся по верху подойник, Сергей Михайлович уже сидел в ожидании за наскоро сервированным столом. К Нинкиному пиву он тонко нарезал домашней ветчины, а себе положил первой вишни и мочёных яблок. Увидев такое, Нинка даже молоко разливать не стала, а прямым делом к столу. Муж налил ей стакан «Жигулёвского», затем булькнул из глиняного графина себе и предложил выпить за удачный сенокос (он этим летом выдался поздним — травы только-только добрались до необходимой спелости, то есть обрели жёсткость, необходимую для качественной косыбы). Они с удовольствием выпили и принялись с аппетитом закусывать. Аромат ветчины, которую Сергей Михайлович коптил на банной печке, и лесных яблок, которые Нинка замачивала в домашней капусте, был божествен! По второй выпили за Диву, за его тернистый путь «к своим», как сказала Нинка. «А его «свои» — это кто?» — спросил вдруг растерявшийся муж. Но жена лишь неопределённо пожала плечами.

Тачка, на которой Дива возил из лесу всё для своего нехитрого хозяйства, была сделана на зависть всем межевским мужикам. Во-первых, она была на резиновом ходу, то есть на хорошо накачанных мотоциклетных колёсах. Во-вторых, Дива не преминул оборудовать её рессорами, что позволяло ей не дёргаться и не прыгать на ухабах даже в случае перегруженности. В-третьих, на тачке можно было легко менять верхнюю, грузовую часть. Здесь Дива предусмотрел три варианта: для перевоза травы, для перевоза дров и слег и для перевоза песка, грунта, навоза, торфа и иных сыпучих фракций. Ранним июльским утром он оборудовал тачку под траву и, хватив кружку чаю с мятой и зверобоем, заспешил на дальнюю вырубку, где ещё третьего дня заприметил густые лужайки клевера и иван-дамари. Миновав гречишное поле и подлесок, он с удовольствием ступил под прохладные сени сосен и берёз, кое-где разбавленных дубняком и осинником. Здесь отчётливо пахло грибами, но Диве сейчас было не до них. Все его мысли были о любимой козе Маньке, его единственной постоянной подруге и кормилице. Вспомнив горьковатый, терпкий привкус Манькиного молока, Дива надал ходу и вскоре оказался на вырубке. Вырубка была уже довольно старой, а потому густо заросла орешником, крушиной, а местами и малинником, ягоды на котором уже начинали краснеть. «Малиновое варенье, — подумал Дива. — Вот ещё забота будет. Без него ни одной зимней хвори не излечишь. А с моими пальцами собирать мягкую ягоду всё равно что дрова тупым топором рубить. Одни мучения, а результату — ноль! Надо будет Машку Лушникову за мёд нанять и её подружку Любку Докукину в придачу, чтоб им на пару не скучно было. Странные всё же люди на свете живут! Отчего-то не могут в одиночку ни думать, ни работать, ни отдыхать. А ведь одному и думается лучше, и видишь всё кругом чётче, и делаешь быстрее, а главное — правильнее и умнее». Ну да ладно. Каждый живёт как может, как ему сподручней и уютней. Замаскировав тачку кустом калины, Дива достал косу, брусок и встал в позу точения. И вдруг увидел большую рыжую лису, которая внимательно за ним наблюдала из зарослей иван-

чая. У лисы была белая бабочка на груди и тёмные подпалины на ногах. Ни испуга, ни даже обычной звериной настороженности во всём лисьем облике не наблюдалось. «Ну-ну, — сказал вслух Дива, — наблюдай, милая. Я не охотник и не живодёр, и мне до тебя дела нет. А косить вдвоём даже приятней!» Наточив косу и глянув на лису ещё раз так, словно спрашивая у неё разрешения на начало косьбы, Дива расставил как надо ноги и сделал первый взмах. Лёгкость пришла, как он и ожидал, после третьей заточки. Перестала «скулить лярва» под ложечкой, спало напряжение в спине, пришли к согласию мускулы на руках и ногах, подсох первый пот. Лисы к этому времени уже за иван-чаем не было. Видно, ушла ловить мышей в дубняк, где их всегда водилось больше, чем в остальном лесу, или сторожит куропаток, которые сейчас привязаны к своим выводкам. Да и перепела вон кричат, сигналият своим глупым птенцам. Нет, лисе сейчас фартит! Ну, и лисятам соответственно. Дива достал грабли из-под тачки и начал неторопливо сгребать траву. Была она в росе, из-за чего косить её было одно удовольствие, а вот везти будет тяжеловато, хоть и тачка у него — первый класс! Подсушить бы, но это долго и рискованно. Могут увести конкуренты, те же мордва с Горы. Они даже лыжи прошлым летом у Сергея Михайловича умыкнули, а позапрошлой зимой вывезли с края села целый дом, в котором и не жили-то всего год! Нет, надо пластать траву на тачку. Под окнами высушу. Иван-да-марья почти не пахла, а вот от клевера исходил густой медовый дух, отчего даже во рту сладко становилось. Но как ни старался Дива, травы на тачку убралось не более половины ото всей им скошенной. Пришлось рассчитывать ещё на одну поездку. «Ну что ж, — подумал сметливый Дива. — Сделаю-ка я пару копен, оставлю дома косу с граблями, а возьму с собой только вилы. Так будет и легче, и удобней, и куда быстрее». Копны он сложил за каких-нибудь десять-пятнадцать минут и, благословясь, направился к дому. Тачка катилась ладно, дорога шла с горы, была она ровной, безухабистой. Но на опушке что-то Диву остановило, словно толкнул кто в спину. Он обернулся и увидел прямо на дороге лису с бабочкой. Она спокойно и внимательно смотрела ему куда-то в подбородок. Он в ответ виновато развёл руками — дескать, извини,

красавица, Манька траву ждёт, поехал я с твоего разрешения. Но скоро вернусь за остатками. И лиса, как явственно заметил Дива, согласно повела головой и неторопливо поплелась по дороге назад. Он даже успел заметить, что на конце хвоста у неё тоже белая опушка.

Выгружал, разбивал и ворошил траву Дива около получаса, сильно при этом вспотев и проголодавшись. Потому зашёл на кухню, поставил вариться яйца и нарезал белого хлеба. Пока ел яйца, закипел чайник. Дива достал плошку с мёдом и, отхлёбывая крепко заваренный чай, заедал его извлечёнными из плошки сотами. Мёд всегда действовал на него как утренняя похмелка на алкоголика. Усталость как рукой сняло, а тревожные мысли о наблюдательной лисе уступили место ожиданиям полуденного купания. Вторую тачку Дива нагрузил ещё быстрее, чем первую. И вновь любопытная лисица наблюдала за ним со стороны. И странное дело, он уже не удивлялся такому поведению зверя, внушая себе мысль о том, что лисе, наверное, просто стало скучно одной в лесу. И вообще, это, скорее всего, лис, которому не надо кормить своих щенков. Вот он и ошивается поодаль, может, даже надеясь на то, что ему от странного человека что-нибудь перепадёт. Впрочем, на сей раз лиса (или лис?) до опушки Диву не провожала, а отстала где-то на полдороге. В это время у Дивы появилось явственное ощущение резкой перемены: долгое время до этого за ним внимательно наблюдали, и вдруг раз — и ничего нет, наблюдение снято. Он даже вздохнул с облегчением, словно его наконец отпустили из какого-то замкнутого пространства, в котором свои правила игры, порядки и своя философия жизни, имеющая с межевской действительностью очень мало общего. После того как с травой было покончено, Дива ещё раз испил чаю и стал собираться на пруд. Там, под тремя развесистыми ивами, имелось у него своё заветное место, даже в знойный полдень хранившее приятный утренний холодок. Здесь, на влажной шелковистой лужайке, лежала принесённая им накануне охапка соломы, в которую он и сел перевести дух. Мышцы на его спине сильно набрякли от проделанной однообразной работы, руки висели как плети, а икры на ногах даже сводило. Сделав над собой усилие, Дива

стянул с торса рубаху и спустил свои бумажные порты, оставшись в длинных сатиновых трусах. Вода в пруду была тёплой, как парное молоко, и ещё не взбаламучена сельской ребятиней. Дойдя до серьёзной глубины, Дива лёг спиной на воду и осторожно поплыл, наблюдая, как всё дальше и дальше отодвигается от него берег. «Наверное, — подумал вдруг он, — что если бы вон из-за той ивы на меня сейчас глянула та рыжая лисица с бабочкой, я бы пошёл камнем ко дну». Он вновь вспомнил вырубку, запах скошенного клевера и этот пристальный звериный взгляд со стороны. «Видимо, что-то она мне хотела передать, — подумал он и вдруг почувствовал, что обогащён после этого лесного вояжа каким-то новым знанием. — Значит, видимо, передала». И в этот момент Дива понял, что, сам того не желая, он плывёт на груди назад, прямо на старую разлапистую ветлу, наполовину выгоревшую снизу и беспорядочно облепленную чёрными грачиными гнёздами сверху, возле самой макушки. Самих грачей в это время на ветле не было, все они, видимо, улетели кормиться либо на колхозные поля — первым обмолотом, либо на молокозавод — сырными обрезками и остатками обраты. У Дивы был один знакомый грач, который каждое утро прилетал к нему на забор и настойчиво каркал до той поры, пока хозяин не выносил ему хлеба и немного зерна. Грач явно не нравился Дивиным курам, а особенно петуху, который, кажется, путал его с коршуном, укравшим в начале лета у клушки почти половину цыплят. Ощувив пятками мягкий ил, Дива побрёл к берегу, по которому только что пробежала ватага мальчишек. Они любили нырять с рухнувшего в пруд дерева, в которое ударила по весне молния первой грозы. Вот и сейчас они с воплями кидались в воду с верхнего толстого сучка, вытворяя в воздухе чёрт-те что. Дива улыбнулся в усы, вспомнив, что когда-то давно он был точно таким же беспечным пацаном, купальщиком, драчуном, заводилой. Но потом, в юности, что-то случилось с ним, какой-то перелом произошёл в его душе, и мир сразу изменился, поделившись надвое: на внутреннюю его сущность, о которой, кроме него, почти никто из людей не думал и не гадал, и на внешнюю среду обитания, которая Диве была интересна лишь постольку, поскольку от неё зависело его

физическое существование и само пребывание там, куда он стремился всем своим существом. Да и не мог он иначе.

Эта его отстранённость не единожды пробуждала к нему интерес сельского священника отца Ефрема, который пытался залучить его под своды храма, неназойливо пытался, а по-учёному, осторожно, словно спугнуть боялся. Нет, Дива был не из пугливых, но задушевного разговора у них почему-то не получалось. Священник говорил об одном, а Дива думал совсем о другом. Господь, апостолы, Евангелие, христианские таинства... Особенно Дива не понимал исповеди. Ему было страшно даже подумать, что он кому-то станет доверять свои сокровенные мысли и чувства. И не потому, что он их стыдился, а потому, что их не познал и сам.

— Отец Ефрем, — говорил он молодому ещё священнику, — мне сперва надо самому в себе разобраться, а потом уж с этой ношей идти к вам за помощью, если такая потребность появится. Священник пытался ему возражать в том смысле, что в церковь и приходят для того, чтобы во всём, в том числе в самом себе, разобраться. Но в ответ Дива лишь виновато пожимал плечами — дескать, кто как, а я сам хочу. А вообще, Диве в любых стенах всегда было тесно, кроме, пожалуй, стен родной избы, бани да половенки. Да илюдно было в церквях, даже в небольшом сельском храме всегда кто-нибудь молился и возжигал свечи. И Дива искренно не понимал, как он сможет на людях разговаривать с Создателем, ибо всегда мыслил этот процесс исключительно интимным, без посредников и соглядатаев. Однажды он видел, как в городском храме один ещё молодой мужик, встав перед иконой на колени, стал рьяно биться лбом об пол, и это Диве не понравилось. Во всяком случае, себя на его месте он представить никак не мог. Зачем часами стоять под образами, иступлённо биться головой о твёрдый каменный пол, назойливо выпрашивая НЕЧТО у пропахшего ладаном и свечным воском пространства, если вокруг раскинулся огромный, живой и говорящий мир? Любое дерево, любая озарённая солнцем опушка, любой отороченный кустами лужок скажут человеку много больше, чем самый начитанный, самый преданный своему промыслу священник. И хорошо ещё, если промыслу, а не каким-нибудь су-

губо мирским фетишам. Нет, Дива никогда не богохульствовал, не спорил с верующими, отнюдь не разделяя атеистические ереси, но его вера была совсем другой, и если бы он больше читал, то, вероятно, позиционировал бы себя таким современным язычником... без идолов и обрядовых культов. Просто он был частью перелесков, полей и рек, их долгожданным порождением из теней явленного Создателем мира. Вот в Создателя он верил безоговорочно, но не идентифицировал его только с православным или с каким-то ещё Богом. Он был, по его ощущениям, куда выше и могущественней, потому что создал и богов тоже.

### Глава десятая

**А**в это время Самсон Ищенко наконец придумал, как ему скомпрометировать Диву. «Всё очень и очень просто, — рассуждал председатель сельсовета. — Межаки не раз видели Диву на пруду, где он мочит лыко. А рядом с ним, помнится, отмокают лыки инвалида войны Павлика Кабанина. Найму Занозу, и он эти лыки ночью достанет и накрошит ими возле Дивы на дворе. Если повезёт, можно будет и подложить эти лыки прямо Диве в сарай, а уже поутру его и уличить. Поссорить этого умника с ветеранами войны... Что может быть лучше?» Ищенко от предвкушения предполагаемого конфликта веселило всё больше и больше, и он рассказал о своих планах жене. Та неожиданно для мужа очень долго думала, а потом высказала предположение о том, что межаки в вороватость Дивы могут и не поверить, в связи с чем, чего доброго, ещё и станут искать провокатора. И вот тут Заноза может не выдержать и признаться, а главное — во искупление своих грехов сдать его, председателя сельского совета.

— Как пить дать сдаст! — с пафосом закончила Софья свою пораженческую концепцию. — Не связывайся, Самсон. Что мы, плохо живём? Или кто на твоё место зарится? Подумаешь, лидер у межаков появился?! Ну, появился. И что? Да лучше такой, как этот беспальный блаженный, чем кто-нибудь из местных злопыхателей и хитрецов! Ну и пусть его людей спасает, а ты в «Сельскую жизнь» статейку тисни, что такие поступки жи-

телей Межи являются реализацией общих установок местного Совета.

Опешивший от такой вдруг наметившейся перспективы, Ищенко сначала было хотел поднять жену на смех, что-де кто он и кто Заноза, кому, так сказать, межаки, если что, скорее поверят. Но Софа опередила его своим контрпредложением:

— Знаешь, я тут подумала немного и решила, что обойдёмся мы и без Занозы. Чем меньше людей знают, тем предсказуемей результат. Управимся сами и с лыками, и этим его сараем. В крайнем случае, кинем эти лыки прямо ему на огород, под забор. Да кто там разбираться станет, где они лежали. Главное, на территории его местожительства. Проблема в другом.

— Интересно, в чём же? — спрашивал уже заинтригованный Ищенко.

— Через кого и как распространить эту информацию о воровстве? — отвечала задумавшаяся не на шутку Софья Ефимовна. Впрочем, в глазах её горел гончий азарт.

— Думаю, что надо печатными буквами написать Павлику записку, что у него свистнули лыки, — не мудрствуя лукаво, предложил Ищенко. — И в записке же указать, что следы этих лык замечены возле избы Дивы Беспалова. А чего мудрить-то? Главное, кинуть тень, а там пусть отмывается. Как бы там ни случилось потом, а всё равно былого доверия уже не вернёшь. А нам ведь и не надо, чтоб его по уголовной привлекали, верно? Мы ведь не злодеи какие-нибудь, а?

— Ну, если его в районном отделении денёк-другой продержат, делу нашему это не помешает, — со знанием дела возразила Софья Ефимовна. — И всё-таки, друг мой, обозначь мне почётче причины, ради которых мы этой ночью, выражаясь на языке моего бедного папочки, пойдём с тобой на дело?

— Понимаешь, Софа, тут как минимум две причины, — Самсон Юлианович обозначил в воздухе правой ладонью очертания цифры «два». — Первая — это то, что такая вот вопиющая независимость одного члена, так сказать, общества вселяет её, эту независимость, непокорность во всех его членов. Наказать бы здесь кого надо, чтобы приучить этих разгильдяев к элементарному порядку. Порядок был и есть превыше всего! Тогда и работать начнут как на-

до, и в бочки ссать перестанут. — Ищенко вдруг представил, как он на межевской площади самолично сечёт Диву... розгами по рябой синей заднице. Почему рябой, он не знал, но так ему почему-то представлялось, словно он где-то видел и хорошо запомнил эту задницу, хотя сейчас почти не помнил и самого Диву.

— А во-вторых что? — вывела его из задумчивости жена.

— Во-вторых, обыкновенная предосторожность. Дива, как ни крути, очень подозрителен. Помню, во время войны таких всегда брали на мушку и перепроверяли. И очень часто это давало свой положительный результат. Такие люди оказывались либо бывшими дезертирами, либо антисоветчиками, а то и самыми натуральными диверсантами, шпионами. Вот и Дива мне этот кажется каким-то как будто засланным или завербованным по ходу. Сейчас вот авторитет у здешних пентюхов заработает, а потом раз — и молокозавод рванёт или воду в колодцах отравит. А обвинят потом меня, что не разглядел, не проявил бдительности.

— Эко ты куда хватил, Самсоша! — с кривой усмешкой воскликнула Софья. — Да Сталина то уж больше двадцати лет нету. И этот его сумасшедший тезис, что по мере развития социализма классовая борьба только усиливается, давно забыли. Ну какие диверсанты, право? Самый первый диверсант в Меже — это наш председатель колхоза «Рассвет» Сёмка Дерябин, который пьёт третий месяц на пару с главным агрономом Поповым, а на полях у них бурьян, выюн да лопух. Вот ты бы их персонами и озаботился. Я думаю, тебе надо в район съездить и тайно переговорить с первым секретарём Громовым Аркадием Петровичем. Он сам сельское хозяйство курирует. Да попроси у него каких-нибудь дельных людей вместо этих пьяниц! Он тебе только спасибо за этот сигнал скажет, потому как на последнем бюро райкома Жопов этот, который пьяного председателя замещал, на него голос повысил. Мне секретарша громовская по дружбе проболталась...

— Если дельных, то я тебя попрошу назначить, — попытался иронизировать Ищенко, но Софья Ефимовна эту иронию восприняла по-своему:

— А что? — вполне серьёзно и даже как-то надменно произнесла она. — Я бы этот ваш «Рас-

свет» и в самом деле сделала бы рассветом, а не закатом, чем он по сути своей нынче является. Ты только посмотри, сколько ещё хорошей техники гниёт возле колхозных ферм! А на посевную не знали, что в поле выводить. Сейчас вот будут искать, где взять на уборочную. Вот это самое настоящее вредительство. А ты про какие-то отравленные колодцы... Да не станут капиталисты нас травить. А кому им тогда свои излишки продуктов продавать?

Посмотрев на Софью с некоторой опаской, Ищенко погладил её пухлую руку и, стесняясь чего-то, ласково попросил:

— Ты, Софа, пожалуйста, очень тебя прошу, никому другому этого не говори. Ладно? Мне по дружбе кагэбист районный сказывал, что нынче из Москвы новая установка спущена — брать под особое наблюдение всех острых на язык и не пускать их во власть там и вообще в общественное присутствие. А ты у нас дама общества. Так что... Я пока не знаю, как они установку эту начнут выполнять, но уверен, что ничего хорошего из этого для нас с тобой не получится. Начнут прошлое ворошить, вытряхивать из него там всякую вонь — ну, в грязном белье в общем копаться. А они, как ты помнишь по своим родственникам, всегда с этим отлично справлялись. Вот и теперь найдут, чего доброго, сначала твоего папу-уголовничка, а потом и деда с бабкой, которые нэпманами были, ювелирным промыслом занимались ещё с царских времён. А ты тут в аккурат колхозы ругаешь. Ну и за меня, советского работника, возьмутся. А я, если веришь, и сам толком не знаю, что на меня могут накопать. По молодости-то ведь знаешь — все дураками были. Поэтому если захотят — накопают. И про Сталина ты зря. Он, если хочешь знать, у многих там, в руководстве, в головах крепче, чем Ленин ваш, сидит. Ты думаешь, если при Хруще его из Мавзолея выкинули, так и нет его вовсе? Фигня. Это Хруща твоего через десять лет уже и в помине нет, а если и помянёт кто, то потом долго чертыхается: «Чур меня! Чур меня!»

— Самсоша, и что ты, право, Хрущёва моим называешь? С какой стати? — обиженно всплеснула руками Софья Ефимовна.

— Да брось ты, Софья, на пустяки обижаться, — зло щёлкнув зубным протезом, оборвал жену Ищенко. — Ну а чей же он, Хрущ? Трудовым лю-

ням, как я, он на хрен не нужен. Это вы там, в своих еврейских кругах, с ним носились: свобода, оттепель, реабилитация! А чем всё это кончилось? Совнархозами, кукурузой, дефицитами и самым настоящим голодом! И заметь, даже в чернозёмной зоне, где сегодня воткни сухую слегу — завтра из неё дерево вырастет, крестьяне всё равно голодали. И лишь теперь мы кое-как из этой бедности вылезли. Словом, ты меня поняла? — уже далеко не дружеским тоном закончил бывший член западноукраинского патриотического движения.

— Поняла, Самсоша. Я буду нема как рыба. — На лице Софьи Ефимовны читался явный испуг и за своё еврейское вольнодумство, и за какие-то неведомые ей ошибки мужа.

— Нет, немой как раз быть не стоит, — сменил гнев на милость Ищенко. — Ты, если зайдёт речь о политике, либо постарайся увести разговор в сторону, что ты всегда очень умело делаешь, либо говори о терпимости нынешней власти. А тут и врать-то особо не надо, потому что оно так и есть: живут нынче спокойно, никаких «чёрных воронов» сегодня по деревням не ездит, за трёп никого пока что не посадили, ветераны войны получают хорошие пенсии, подарки вот я им к Дню Победы готовлю, работяги на заводах стали вообще получать как полковники. Ну, сельское хозяйство — да... Но на селе у нас почитай с двадцатых годов хреново, и я думаю, что там, наверно, попросту не знают, а что такое в сельском хозяйстве надо поменять, чтобы оно возродилось и стало работать так, как надо. При нынешнем строе это невозможно. Поэтому лучше молчи.

### Глава одиннадцатая

Остаток лета и осень прошли в Меже без особых событий. Дива на селе почти не появлялась, а всё больше корпел у себя на огороде да в лес ездил каждый день, и не по разу. Он засушил и насолил грибов на два года вперёд, заготовил столько сена, что его не только козе, но и дюжей бы корове хватило, навозил и нарубил два сарая дров. Не подвёл его и огород, с которого он собрал десяток мешков картошки, много кабачков, помидоров, огурцов, гороха и бобов, капусты, свёклы, моркови и репы. Накачав вдосталь мёду,

он в октябре утеплить улы соломой и тряпьем, а в предзимье заколол поросёнка, накопив из него окороков и закатав двадцать банок тушёнки. И таким образом ушёл Дива в зиму с полным радостным осознанием своей выживаемости и ещё большей, чем прежде, независимости. К концу лета он даже две четверти вина поставил: из гнивающих яблок и черноплодки. Вино получилось гораздо вкуснее магазинной фруктовки, и Дива порой позволял себе стаканчик перед ужином под ветчину с жареной картошкой и мочёными помидорами. Как подошла зима, заметить он не успел. Проснулся однажды вялым и с ломотой в костях, глянул в окно, а там белым-бело! И тут вдруг почувствовал Дива, что ему уже хорошо за пятьдесят и эта не являвшаяся ранее ломота в костях — тому прямое подтверждение. Тут же кинулся он к заветному Нинкиному мешочку и, отринув две или три склянки, нашёл то, что ему сейчас было нужно. На маленькой, запечатанной пчелиным воском баночке он прочёл Нинкину инструкцию: «Мажь понемногу и, главное, массируй и втирай. Много нельзя — потому что мазь очень крепкая, со змеиным ядом. Лучше потом немного добавишь, но сразу не переусердствуй!» Дива так и сделал, хотя уже после первой робкой смазки спину его загло сильнее, чем возле разогретого подтопка. Дива глухо стонал, но терпел. Потом намазал ещё. Жгло уже не так. «Наверное, выдохся на мне яд гадючий», — сказал про себя Дива, памятуя о том, что гадюка прежде уже дважды могла запросто отправить его туда, откуда ещё никогда никто не возвращался. Один такой случай он помнил довольно чётко. Дело было в прошлом сентябре. Он пошёл в Крутые Вершины за чёрными груздями. Взял две огромных бельевых корзины. По пути ни разу не останавливался, хоть и кивали ему с краёв дороги красные подосиновики и целые бугры коричневых опят. Он решил выполнить план по засолке крепких груздей, которые прежде никогда его не подводили, то есть не плесневели и не теряли первоначального ядрёного вкуса. Они оставались упруги и крепки даже в нехолодной среде, а когда на них появлялась первая плесень, её следовало просто смыть. Грибов она не портила, даже, напротив, придавала им той особой кислоты, которая, как считают знахари и говорят врачи, является родной сестрой всякому здоровому же-



лудку. И вот, дойдя до заветных мест, он сразу обнаружил мшистые холмики. Разворотив крайние из них, он увидел чёрные кругляки грибов, отдававшие тёмной синью. Первую корзину он набрал очень быстро, хоть и очищал каждый гриб от налипшей листвы и иголок. Но когда первое грибное месторождение себя исчерпало, пришлось искать второе, а за ним и третье... В третьем грузди были на порядок крупнее и уже не прикрывались лиственными шапками. Особенно его поразил один груздь, вымахавший сантиметров на десять над игольчатым покровом в сосняке. Дива даже не сразу стал его срезать, а некоторое время сидел на корточках и любовался. Потом согнулся и сунул руку под шляпку гриба. Но под пальцами вместо прохладной грибной ножки оказалась тепловатая подвижная поверхность, и в следующее мгновение из-под шляпки гриба скользнула прямо Диве под ноги небольшая тёмно-серая гадюка. Угрожающе зашипев, она заструилась тёмной лентой к ближайшему кусту акации, где и скрылась. Почему она не прокусила сжавшую её руку, Дива так и не понял, но был благодарен Провиденью, потому что до дома от Крутых Вершин было никак не меньше пяти километров, а действовать яд начинал уже через несколько минут.

Потянулись блёклые декабрьские дни и длинные вечера. Несколько раз Нинка приглашала Диву на чай, но он, по привычке благодаривший и даже выражавший искреннюю радость по этому поводу, всякий раз оставался дома. Сам не зная почему, он не мог стать частью огромного человеческого сообщества. Разумеется, он уже не раз слышал и читал про человеческую гордыню, про то, что это смертный грех, но никакой гордыни в себе он не чувствовал, никем не пренебрегал, даже Колей Жестковым, которому всегда наливал домашнего вина, а затем отпаивал чаем с особыми травами, желая прикончить его беспробудное пьянство. Принимал он и других, «опущенных» земляками мужиков — всех тех, что родились или в войну, или сразу после неё, кровавой. Они, как заметил про себя Дива, всю жизнь «расплачивались» за фронтовую славу и авторитет своих отцов. Тех уважали, по крайней мере внешне, звали на разные заседания и праздники, а послевоенных как будто и не было на свете. Так, дети фронтовиков. Ни своего места в советской

истории, ни своей особой, как это велось с семнадцатого года, судьбы. Они, к слову, о чём уже не успел узнать Дива, потом и пропали, растворились в других поколениях — тех, что хрипели про войну до них, и тех, что орали трубно со стадионов. А пока... пока Дива в очередной раз собрался в лес, хоть и не было у него особой надобности в этом. Просто душно стало в избе и захотелось принести сюда немного можжевельника. Опустив осторожно на высушенный морозом снег свои промазанные воском салазки, Дива скатился на них далеко-далеко, почти до самой Нинкиной избы. Тут к калитке вышел степенный Сергей Михайлович, спросил по-соседски:

— Далёко ли собрался, брат?

— Да что-то можжевельника отведать захотелось, брат, — отвечал искренно, как обычно, Дива.

— Ну что ж, можжевельник — штука приятная, мы его тоже под матрацы суём, но погода-то скоро разладится. Не боишься бурану? Прошлый год в эту пору случился — так на версту ни зги не было видать. Повременил бы, а?

— Да я туда-обратно, Сергей Михалыч! Ты Нинке только не проговорись, а то она станет беспокоиться, тебя дербанить, зимнего лешего поминать, а я, меж нами говоря, с ним лажу. Надеюсь, что он и теперь мне обязательно поможет. — И с этими словами Дива направился к лесу. Про зимнего лешего Сергей Михайлович, конечно, не поверил, но Нинке ничего говорить не стал. Дива же, проваливаясь поминутно в глубокие сугробы, всё более и более начинал ощущать свою отстранённость от остального людского мира. Мир природы сейчас замер, стал суровее и однообразнее, а главное — почти перестал с ним говорить, словно предлагая и Диве вместе с ним помолчать, подремать в какой-нибудь трещинке, ямке или вон в домашнем подполье, как это делают мухи, жучки, жабы и даже барсуки с медведями. Но Дива, окунувшись в юности всей своей душой в этот мир, телом и образом жизни своей всё же остался человеком, хоть и особенным, как и большинство зверей, проводя значительную часть своего времени наедине с самой собой. Когда-то давно, будучи ещё молодым мужиком, он начинал тяготиться этой своей особенностью, ощущая её как бремя, а порой и как болезнь. Но с годами он привык к зимнему без-

молвию природы, как звери привыкают к сезонной линьке, а змеи — к болезненному процессу смены кожи. Однажды Дива, влекомый сельскими девками, сходил в клуб на модный в шестидесятые годы фильм «Человек меняет кожу» и, подивившись на точность воспроизведённых в кино его тайных ощущений, сумел понять, что хоть все люди и различны по своей восприимчивости к миру, их проживание в нём, по сути своей, едино. И таким оно всегда было и, судя по всему, останется. А тут ещё добрый и хитрый отец Ефрем подкинул Диве «Маугли» Киплинга, и Дива, ошарашенный концом этого замечательнейшего повествования, впал в тяжкие раздумья. «Всё ж таки Маугли, — размышлял он, — вернулся к людям юношей, в полном соответствии с наступлением брачного цикла, то есть вернулся, чтобы найти себе пару и продолжить род. А я? Уже почти старик! И было со мной как раз всё наоборот: повзрослев, я стал избегать людских привязанностей. Почему? Монахи, по крайней мере, преданы Богу и живут миром, в тесных кельях, по несколько человек. А я в такой келье, наверное бы, сошёл с ума. Мне нынче даже в избе своей стало душно». А он всё шёл и шёл, преодолевая снега, густо выпавшие на Крещение и уже собранные ветрами в сугробы. Тут Дива посмотрел на горизонт, и он ему не понравился. Несмотря на то что над головой пугливо порхали лишь мелкие облачка, с юго-запада напоздала на Межу огромная тяжёлая туча. «Ничего, успею, — успокаивал себя Дива. — Раскидаю снег и вилами загружу сено, пластинами один на другой. Тут и надо-то не больше десятка минут. Даже если буран быстрее, чем я думаю, придёт, тропу к дому ему всё равно сразу не замести». Ускорив свой спотыкающийся о сугробы шаг, Дива уже через десяток минут был на опушке, где ещё дважды провалился едва ли не по грудь. На краю оврага вообще сугробы были куда глубже, чем на равнине. Кое-как вывалившись из снежного бархана, он придержал санки и, затем переместив на них всё своё тело, съехал на дно неглубокой балки. Здесь он без особого для себя труда обнаружил схваченную наледью копну. Наледь он довольно легко сбил вилами, а вот дальше всё пошло не так, как он предполагал ранее. Увы, промоченное осенними дождями сено смёрзлось и не хотело расслаиваться. Дива орудовал вилами буквально как отбойным мо-

лотком. Но результаты были более чем скромными. А потому на перегрузку сена в салазки времени ушло втрое больше, чем Дива рассчитывал. Да и работа так утомила его, что остро потребовался хотя бы небольшой отдых. И вот когда Дива, отдышавшись, стал подниматься с салазок, окрест резко потемнело и наступила какая-то странная, цепенящая всё живое тишина. «Сейчас начнётся, — понял он с тревогой, — теперь главное — встать на тропу и, несмотря ни на что, продирается по ней к Меже. Главное, дойти до Нинкиной избы, а там заборами и до своей с полверсты, а то и меньше». С сеном вылезать из балки не так легко, как валиться в неё порожняком. Когда Дива кое-как вылез на бруствер, села уже видно не было. По полю суетно бегали снежные смерчи, а сама линия, разделяющая небо и землю, не улавливалась даже пристальным взглядом. Но, тем не менее, пришлось вставать и выходить из лесного затишья на буранную замать. По сторонам Дива старался не смотреть, а лишь упрямо ставил ноги в старые, протоптанные получасом назад следы. Их, между тем, очень быстро заметало, и Дива стал спешить, поддёргивая за собой санки с сеном и поправляя выбивающийся из-под воротника шарф. И, скорее всего, минут через пять он бы достиг Нинкиной околицы, а там... Но вдруг его санки как будто дёрнули его назад, он даже потерял равновесие и едва не повалился спиной назад. Кое-как удержавшись на ногах, он повернулся вокруг и... увидел двух крупных волков, один из которых тормозил санки передними лапами. Совершенно опешив от такой наглости, Дива в следующее мгновение замахнулся на волков тут же вырванными из возка вилами. Задний волк испуганно мотнул головой и, тут же сдав назад, затем исчез в снежной мути, а тот, что тормозил Дивины санки, остался стоять на своём первоначальном месте, только весь подобрался и несколько присел. Дива, ощутив невольный холодок внутри, сразу понял, что он готовится к прыжку, и выставил вилы вперёд с учётом угла падения. Волк на это выпрямился и прыгать не стал. Концы вил были так отшлифованы, что сверкали как штыки даже без солнца. Волк смотрел на них и обиженно выл. И слышалась Диве в этом вое досада на несознательного человека, который не хотел уступать волчьему аппетиту. И тогда Дива, передразнивая волка,

тоже стал похоже завывать. Странная, должно быть, открывалась снежному лешему картина: стоят в голом поле друг против друга волк и человек, смотрят друг дружке в глаза и воют. Так и простояли они до тех пор, пока буран неожиданно не стих. Тут сразу же разъяснило, за спиной Дивы возник заснеженный Нинкин дом, завидев который, волк, издав отчаянный вопль, поспешил к лесу. Вернув вилы в возок, Дива неспешно стал пробираться к околице. Здесь его встретил заметно встревоженный Сергей Михайлович.

— А я уж на поиски думал отправляться, — озбоченно сказал он. — Шутка ли, такой буранище пришёл, а ты вон, смотрю, даже санок не бросил. Без приключений дошёл-то?

— Да всё нормально, Сергей. Ты только, смотри, двор надёжней запирай, — посоветовал устало Дива и, взыв по-звериному, добавил: — Волки тут, возле тебя, шалят.

Сергей Михайлович раскрыл от удивления рот, но сказать ничего не успел. Дива неожиданно ускорился и через минуту был уже у дальних сараев.

## Глава двенадцатая

В один из долгих, метельных февральских вечеров к Диве забежала Нинка. Прямо с порога, наскоро смахнув с валенок снег, она предупредила сразу встрепенувшегося Диву:

— Сиди, сиди! Я на секунду. Книжку вот тебе принесла, Пушкин, «Капитанская дочка».

Дива с удивлением смотрел то на положенный прямо на стол небольшой зачитанный томик, то на саму румяную, весёлую Нинку.

— Я тут тебе отчеркнула карандашом один кусок, в школе его, помнится, «Буран в степи» называли. Ты вот тоже недавно в буран попал, тебе прочитать это просто необходимо. Ну, бывай, однако. — И Нинка упорхнула ещё быстрее, чем появилась.

Дива привстал с дивана, протянул руку, взял книгу за корешок, положил её себе на колени. «Издательство «Детская литература» — прочёл он внизу, невольно улыбнувшись набежавшей мысли: «Что же это меня Нинка за дитё малое держит? Впрочем, а кто я на самом деле для большинства межаков? Дитё и есть! Может, поэтому и не

лезет ко мне никто, даже вон пьяницы местные за заёмными трёшками не заглядывают, как к большинству здешних одиночек». Раскрыв книгу, Дива увидел рисованный профиль Пушкина с гусиным пером и его уже виденный где-то автограф. Сама повесть тоже начиналась каким-то беглым, явно старинным рисунком: мужики с дубинами, солдаты с ружьями, остриженный в кружок казак с печальными глазами. Сначала Дива разыскал в книге выделенный Нинкой текст и тут же начал его читать: «Я выглянул из кибитки: всё было мрак и темень...» И Дива тут же вспомнил, как глянул он с опушки на село и увидел примерно такую же картину. Дочитав описание бурана до конца, он понял, что в степи бы он точно пропал, а так лес всё ж таки не даёт ветрам разгуляться. Потом он вернулся к началу и стал читать про историю недоросля Петруши Гринёва. Читал он очень долго... пока повесть не кончилась. Но за повестью, шрифтом помельче, в книжке имелась ещё и «История пугачёвщины», которую Дива также внимательно перечёл с уже меньшим энтузиазмом, понимая, впрочем, что имеет дело с сухими документами. На следующий день, набрав воды в колодце, Дива заглянул к Ляпнёвым и, вернув изученный им от корки до корки томик, попросил ещё. И хорошо бы опять Пушкина, на что получил школьное издание «Повестей Белкина» и подарочный вариант «Маленьких трагедий». Быстро одолев «Пиковую даму», Дива невольно вспомнил, как он ещё до войны сопливым подростком отказался играть с городскими блатарями «на интерес». «Раздели бы до трусов!» — подумал он вслух и принялся читать дальше. «Барышню-крестьянку» он дочитывал, только что не всхлипывая. И вообще, «хеппи-энд» ему нравились куда больше, чем «документы суровой действительности» типа «Станционного зрителя», хоть он и понимал, что второе в жизни встречается гораздо чаще первого. «Маленькие трагедии» ему было читать странно, а вот присовокуплённую к ним «Сцену из «Фауста» он перечитывал несколько раз: «— Мне грустно, бес! — Что делать, Фауст? Таков вам положён предел...»

— А ведь и в самом деле грустно, — разговаривал сам с собою Дива. — Скорее бы весна приходила! В конце марта уже закашляют на вётрах грачи. А там, глядишь, и пернатая мелочь в саду защече-

чет. Выгоню Маньку на проталину, загляну в улы: сколько сдохло, а сколько выжило? Разведу им медового сиропа — нехай им подкрепляются после зимы. А потом и соловьи защёлкают — тут уж за соком пора в березняк. Надо будет на сей раз банок десять поставить — и в подвал его, чтобы не закис. Там заодно и сморчков можно набрать на первую в этом году грибную жарёху. Подснежников, медуниц в кувшин поставлю, потом — черёмухи... И грусть минует, и снова всё пойдёт как надо — с рассвета до заката.

А пока... пока приходилось жить, слушая одну разве что пургу. Отложив до поры чтение, Дива достал душегрейку, носки с валенками и стал одеваться. «А схожу-ка я за сосной в крайний бор, — сказал он себе. — А то размечтался тут о весне, а столбов для палисадника в хозяйстве нет. Вот и запасу нынче, пока времени — вагон».

Погода была ясная, хоть и сильно ветрило. Закутав нос и губы шерстяным шарфом, Дива пошёл чётко на встречный ветер, к синеющему справа от основного лесного массива бору. Этот сосняк был посажен ещё в войну застрявшими в селе из-за нехватки вагонов маршевыми ротами. Председатель колхоза в ту бесхлебную фронтую пору накормил солдат с одним условием — они посадят в голом поле строевой лес, саженцы которого осели в местном лесничестве во время проезда здесь на Урал эвакуируемой из Ленинграда лесной академии. Поскольку солдаты жутко проголодались и делать им в селе было положительно нечего, посадка леса была осуществлена в кратчайшие сроки. И через несколько лет, вскоре после Победы, в молодом сосняке уже собирали маслята и землянику, а лет через двадцать пять повадились сюда межаки и за самими строевыми соснами. На сей раз вставший на широкие лыжи Дива добрался до сосняка за четверть часа. В сосняке зимой было уютнее, чем в лиственном, голом и почти не живом лесу. Это чувствовали и синицы, и дятлы, и даже в принципе не любившие хвойного леса вороны. Все они здесь шеvelyрялись в тяжёлых лапах, клевали шишки и роняли на снег куски поеденной жучками-червячками коры. Здесь и Диве сразу стало как-то веселей, и он вдруг почувствовал совсем живую, лишь присмирившую до срока, но внимавшую ему природу. И он смиренно прислонился к самой невзрачной в бору, не оправившейся от ка-

кой-то древесной болезни сосенке и стал чуть слышно шептать ей слова сочиняемого им по ходу заклинания:

— Дорогая моя сосенка, милая, хорошая! Возьми у меня мою человеческую силу, — говоря это, он теснее прислонился к её стволу. — Возьми её и оберни в свою, древесную. Пусть она принесёт тебе исцеление, даст силы, приумножит течение смолы под твоей корой, и чтобы корни твои углубились и разошлись во все земные концы и достигли бы питательной влаги.

Проговорив это, он вдруг понял, что рубить в этом лесу больше никогда не станет. Он вспомнил вдруг тех голодных, кое-как экипированных пацанов-солдат, которые, ползая и обдирая колени, сажали этот всем на зависть теперь красивый стройный бор. Он вспомнил эти лица, уже в этом тыловом селе помеченные знаком смерти. Да, он читал потом в одной учёной книге, что призывники двадцать третьего — двадцать четвёртого годов рождения не вернулись с войны почти полностью. И сажали этот бор именно они, мальчишки восемнадцати лет от роду. Подумав так, он стал шарить взглядом окрест и скоро заметил занесённый снегом штабелёк, явно припрятанный какими-то местными, а ещё, скорее всего, пришлыми браконьерами, или бракушами, как их «ласково» именовали в Меже. В штабеле, между прочим, были сложены ничего себе сосны — ровно такие, какие были ему необходимы под столбы. Он нагрузил на санки с десяток двухметровок и тронулся в обратный путь. И странное дело, когда он вышел в поле, то заметил, что «гнилой угол» вновь завесила низкая чёрная туча с лохматыми белёсыми краями. Но на сей раз он успел, люгый буран налетел на Межу, когда он уже достиг своих картофельников. Кое-как заслоняясь от секущих потоков снега, он ещё сумел разгрузить свои санки и сложить деревья под навес возле дровяника. И лишь потом, повесив свою верхнюю одежду на крюк в сених, прошёл к кухонному окну и стал смотреть через голый сад в поле, где, как он только что прочёл у Пушкина, «закрутились бесы разны». «Да и на самом деле, — думал Дива. — Не так уж Пушкин и преувеличивал. Если внимательно присмотреться к этой снежной выюге, то там действительно угадываются бесы. Отдельные друг от друга снежные смерчи, которые то схо-

дятся друг с другом, то опять расходятся. И сугробы под ними то встают белёсыми кисейными занавесками, то выстилаются мятыми белыми простынями. Буран на этот раз был долгим и закончился лишь с приходом тьмы, когда в Меже затопляли печи. Собравшийся проверить погоду, Дива долго не мог открыть заметённую снегом дверь. Сумев отжать её всего на длину своей стопы, он стал откапываться через образовавшуюся щель. Процесс этот длился более получаса. Когда дверь наконец поддалась, он увидел перед собой ясный серебряный месяц, а неподалёку — голубоватый, всегда волновавший его Сириус.

### Глава тринадцатая

Восьмого марта, когда почти все межевские Доярки опились нагнанным в доильном агрегате самогоном, у Дивы на карнизе повисла первая сосулька, чему он был рад не менее нынешнего секретаря парткома Небольсина, когда того принимали в партию. «Сосулька, — весело размышлял Дива, — это первый предвестник весны. И до прилёта грачей будет их ещё с десяток». Подумав так, Дива решил, что пришла пора сходить ему в ларёк за хлебом и заодно глянуть, как там неподалёку новый магазин отстраивается. Говорят, сам Громов приезжал на открытие строительства и якобы они совместно с председателем сельсовета Ищенко перерезали там какую-то ленточку. Кстати, этот самый Ищенко, которому никогда не было до Дивы никакого дела, недавно остановил его на спуске и стал расспрашивать про родителей якобы для каких-то метрик. Дива ему сказал, что родителей своих не знает и не помнит и что вырастила его на выселке Алексеевка чужая тётка, которая ещё в войну умерла от скарлатины. Ищенко на это подозрительно хмыкнул и сказал неопределённое: «Ну-ну...» Дива только и понял, что ничего хорошего ему это самое «ну-ну» не предвещало. Но забывать себе этим голову было глупо, поскольку плохих дел Дива ни в Меже, ни на этом свете вообще не вершил, никого ничем не оскорбил, ни у кого ничего не брал. Разве что про вывезенные из сосняка деревья кто просигналил? Так они в штабеле всё равно наверняка бы сгнили... Да и не числятся они ни в одних документах, поскольку

спилены бракушами и, вероятнее всего, почему-то просто забыты. Были, конечно, в Меже неприятные случаи по лесу, но очень давно, ещё при Сталине. Помнится, «чёрный ворон» тогда забрал двоих лесников-калымщиков и пильщика с пилоарамы, который помогал прохиндеистому Питилке строить баню: возил ему готовые брёвна и прочий пиломатериал за самогон. Но времена эти давно ушли вместе со Сталиным, который, как известно, сам ничего у государства не брал и другим этого делать «не советовал». Нынче же даже в глухой Меже про вороватость всего советского руководства ходили анекдоты. Но, рассказывая их про руководителей и начальников, простой народ и сам не стеснялся: тянул отовсюду кто что может. Доярки отливали для своих нужд и на продажу колхозного молока, работники молокозавода несли домой сливки и сыры, хоть многие из них и имели собственных коров, пильщики с пилоарамы выносили, естественно, доски, рейки и брус, а директор местного ДК (клуба) вынес с места работы телевизор, за что его судил товарищеский суд. Дива же возил необходимое из леса, но делал это так, что лесу от этих его вояжей лишь лучше становилось. Трава после Дивиной косьбы вырастала лишь гуще и породистей, что ли, — например, исчезал разный сорняк, вьюн и прочие паразиты. И, напротив, больше вырастало клевера, пырея, иван-чая, ромашки, васильков... Дива вывозил валежник — и в лесу замирали процессы гниения, Дива валил сухостой — и лес становился чище и светлее. Он протоптал в заветных борах десятки троп, по которым любили гулять грибники и, как ни странно, местные лоси. Возле этих троп почему-то было гораздо больше муравейников, чем в остальном лесу. Дива нередко специально обходил их, и все они носили разные привычные людям имена. Например, муравейник Серёга нравился Диве за почти красный цвет. В него Дива любил опускать руку, а когда мураши облепляли её, он стряхивал их, а затем обонял свою пропитанную муравьиным спиртом ладонь с обалденным наслаждением. Муравейник Никита был просто бурым, но с чрезвычайно большим песчаником вокруг, на котором прекрасно просматривался весь механизм муравьиной деятельности. Присев на корточках, Дива любил наблюдать, как мураши тянут в свой дом упирающихся жучков и

гусениц, палочки, ворсинки, лепестки, хвоинки, а бросишь им хлебных крошек — потянут и их. В двухвершинный муравейник Дуся (он и в самом деле напоминал женскую грудь!) Дива любил зарывать бутылку с сахаром на дне, которую изымал когда через день, а когда и через три. За это время в бутылку успевали набиться сотни мурашей. Дива затыкал бутылку и ставил её в кипящую воду. Через некоторое время он сливал из неё граммов пятьдесят чистого муравьиного спирта (кислоты), который годился для растираний и как средство от ангины и иных простуд. А были ещё муравейники Маша, Паша и Степаныч. Последний, подобно пчелиному рою, облепил большущую сосну, на которую его обитатели в основном и лазили за пропитанием и строительным материалом. Но сейчас, решил Дива, надо в село, а муравейники подождут до мая. Он быстро оделся, снял с вешалки кошёлку и заскрежетал талым снегом к калитке. Дойдя до спуска, он вдруг вспомнил про недавние расспросы Ищенко про родителей, вспомнил его хитрые маленькие глазки на налитом салом лице, и стало ему как-то зябко, неуютно и совестно, словно раздетому донага на сцене нетопленого сельского клуба. «И почему этот разговор меня так задел? — спрашивал себя Дива. — Как будто он меня застал за чем-то постыдным, предосудительным. А мои мать, отец... кем они были, что делали, почему исчезли из моей жизни так рано? Да откуда я знаю? Сколько себя помню, всегда был один, только я и никого рядом. Даже тётка, у которой я рос в Алексеевке, меня не любила. А приютила, чтобы заработать себе прощение у советской власти: дескать, раз советского детдомовца усыновила, то Феликс Эдмундович все прегрешения скотит». Дива поднял воротник у своей душегрейки и ускорил шаг.

Когда подошёл к ларьку, то обратил внимание на какую-то странную нелюдимость окрест. Обычно в это время на ступенях ларька кто-нибудь из местных бабушек либо обсуждал только что сделанные покупки, либо, как в Меже выражались, попросту точил лясы, то есть обменивался новостями и мнениями. На сей раз ни на ступенях, ни на сельской площади никого из межяков не просматривалось. Из ларька тоже никто не выходил. «Что-то неладно здесь», — подумал Дива и потянул железную дверь на себя. Она

не поддавалась. Поскольку таблички «Закрывается» на двери не висело, Дива настойчиво постучал, потом ещё и ещё. Наконец что-то за дверью грохнуло, послышался недовольный голос продавщицы, и дверь приоткрылась. В освещённом проёме Дива увидел бледное лицо завларьком Дуськи Дрожилкиной. Некоторое время она как-то странно молчала, но потом, словно получив какой-то знак из-за спины, приоткрыла дверь пошире и протянула невесело:

— Ну, заходи, раз такой настойчивый.

И Дива, вобрав голову в плечи, чтобы не удариться макушкой о дверной косяк, шагнул через порог на вытертый подошвами пол. На некоторое время он невольно зажмурился от чрезвычайно яркого освещения, но, моментально продрал глаза, в следующее мгновение обнаружил, что стоит посередине торгового зала, в кругу присмирившей и какой-то даже подавленной публики, среди которой без труда угадывались знакомые лица. Только вот на всех этих лицах застыла какая-то одинаковая гримаса то ли испуга, то ли тревожного ожидания. Даже всегда не в меру разговорчивая Верка Соткина странно молчала, словно её только что примерно наказали за излишнюю болтливость. И вдруг его больно кольнуло в левую часть груди: в самом центре безмолвной толпы межяков стояла его соседка Нинка Ляпнёва, несколько виновато глядевшая на него исподлобья. Дива перевёл взгляд на прилавок и увидел за ним незнакомого человека в чёрной фуфайке, который целился в него из двустольного обреза и активно двигал головой снизу вверх, из чего Дива понял, что ему приказывают поднять руки, что он и сделал в следующее мгновение. Целившийся опустил обрез перед собой на прилавок и поднёс к губам горлышко пузатой коньячной бутылки. Сделав пару глотков, он сказал Диве низким хрипловатым голосом:

— Чтобы без фокусов! Стреляю без предупреждений.

И тут Дива вдруг увидел в углу, прямо на залитом кровью полу, странно, конвульсивно изогнутое тело межяковской красавицы Машки Лушниковой. Перехватив взгляд Дивы, человек в фуфайке хищно улыбнулся и проговорил с издевательской усмешкой в голосе:

— Вот эта сучка меня почему-то не поняла, а теперь, видишь вот, остывает. И если кто только дёрнется, тоже станет остывать. В принципе, вы нам на хрен не нужны. Поэтому обещаю, через час-два отпустим... Так, Андрон?

Из подсобки выглянул ещё один в фуфайке, огромный, под два метра ростом. У этого из крупной волосатой ручки торчал воронёный пистолетный ствол. Он отхлебнул из горлышка шампанского, сочно рыгнул и, смахнув свободной левой муху с потного носа, повесил над заложниками столь мудрёное грязное ругательство, что даже шесть раз побывавшая замужем продавщица густо покраснела.

— А чичас, — сказал вальяжно тот, что с обрезом, — мы выберем себе бабу для услуги, а все остальные смогут сесть... ну, прямо там, где стоите. В ногах правды нет, сидеть-то, как-никак, легче. Так, Андрон?

— Не, сидеть больше не тянет, Губа, — отвечал Андрон. — Вроде и зона у нас была ништяк, и в хате всё путём, но на воле лучше. Давай бери вон ту, — к ужасу Дивы, Андрон показал на Нинку, — пускай она нам закуски зарядит с собой. И через час мотаем отсель, а то как бы мусоров не принесло. Мало ли кто стукнул...

Тот, которого только что называли Губой, подошёл к Нинке и резко дёрнул её за руку. Нинка отпрянула, сделала шаг в сторону и отрицательно замотала головой, видимо, понимая, что там, в подсобке, ей, скорее всего, заткнут рот и изнасилуют. Понимая, что Нинка его вполне понимает, Губа грязно ухмыльнулся и обхватил Нинку за спину. Обрез при этом он опустил до полу. Нинка отчаянно завизжала, что, по-видимому, огромного Андрона лишь ещё сильнее возбудило, и он заорал в нахлынувшем на него предвкушении:

— Ты тащи её, тащи на матрац. Там и разложим!

И в этот момент, когда все, кто стоял вокруг Дивы, стали невольно опускаться на пол и закрывать лицо руками, как бы отгораживаясь от происходящего, самого Диву, напротив, что-то невероятно сильное и упругое бросило вперёд на грубо лапающего Нинку Губу. Не будучи ни десантником, ни спецназовцем и даже году не прослужив в армии, Дива не мог действовать так неотразимо и молниеносно,

как это показывали в советских боевиках про шпионов и «будни уголовного розыска». Он просто рванул опущенный Губой обрез на себя, а самого Губу пнул ногою в пах. В результате обрез оказался в руках у Дивы, а Губа, переломившись пополам от нестерпимой боли, присел на пол. Вот только выстрелить в человека почти в упор Дива не смог, а стал ловить стволом только что стоявшего за прилавком Андрона. Но тот, воспользовавшись Дивиным замешательством, успел спрятаться под прилавок. Оттуда он и послал в Диву первую пулю, которая пробила ему правую ногу несколько выше колена. За первой полетели вторая и третья. Но стрелял Андрон неважно, и обе пули задели Диве только ноги. Наконец до Дивы дошло, что его сейчас убьют, а потом начнётся расправа над остальными. И он выстрелил ровно в то место, откуда через щель в прилавке вёл огонь Андрон. Сильно подскочив в Дивиной руке, двенадцатикалиберный обрез с силой хлестнул по прилавку сгустком крупной самодельной картечи. Здоровенный Андрон даже вскрикнуть не успел, а грузно рухнул в узкий проход лицом в пол. Половину черепа ему снесло, словно топором. Кровь хлестала из убитого, как из сорванного под напором крана. Дива от такого «пейзажа» явно опешил и потерял Губу из виду. А тот, наоборот, успев отдышаться и быстро сообразив, что положение начинает принимать скверный оборот, рванулся к стоящему вполборота Диве и ударил его выхваченным из-за голенища ножом. После этого Дива ещё успел обернуться и разрядить второй ствол обреза прямо в лицо атаковавшего его зэка. Потом ноги его подогнулись, и он, судорожно хватаясь за стену, марая её кровью, стал медленно заваливаться на правый бок, противоположный тому, в который только что получил коварный ножевой удар. Нинка успела ухватить его за затылок, чтобы он не ударился об пол. Телефон в ларьке был бандитами испорчен. Побегали в сельсовет, который, разумеется, оказался закрыт. Осталась почта. Лишь оттуда с третьего раза дозвонились до почты райцентра, куда сообщили о произошедшем и вызвали милицию и неотложку. А в это время неразговорчивый Питилка уже вёз беспамятного Диву

к его дому на своём синеньком «жигулёнке». Нинка хлопотала над раненым, меняя на нём быстро напитывающиеся кровью повязки. На них она в ключья разорвала всю свою хлопковую сорочку и всё шептала над то и дело теряющим сознание Дивой какие-то заговоры и заклинания.

— Только не молчи, милый! — просила она исступлённо. — Потерпи немного. Скоро неотложка здесь будет. Сейчас медицина не то что раньше... Ты выживешь. Терпи!

По приезде Дива попросил положить себя на диван, над которым был густо развешан белый тюль и несколько вырезок из «Огонька». Раньше Нинка отчего-то не замечала этого. А с вырезок, взятых в самодельные рамки, смотрели на Нинку, словно живые, леса художников Шишкина и Куинджи. И вдруг стало больно Нинке от того, что она так и не сходила с Дивою в лес, где он по-настоящему только и жил все эти годы. И ещё она без тени всякого смущения и без какого бы то ни было чувства вины перед мужем вдруг остро почувствовала, как любит этого умирающего на её руках человека. И от чувств этих она даже плакать не могла, а лишь дышала ему на лицо этой своей любовью и шептала, шептала что-то, чего сама потом так и не смогла вспомнить. И тогда он приподнялся на локтях и пронзительно, как никогда прежде, глянул ей в глаза:

— Ну, вот и всё топеря, Нина. Людям я худого не мыслил и не делал, хотя в церкву не ходил, и вечная жизнь не про меня. Закопайте меня на опушке сосняка, пожалуйста. Пусть они поплачут надо мной.

— Кто, Иван, кто поплачет? — пыталась добиться ответа Нинка.

Но Дива лишь натужно дышал, отчего тюль над ним шевелился как живой. Потом в груди его что-то тенькнуло, и следом за этим тюль бессильно обвис вдоль стены. Несколько минут Нинка беззвучно плакала, а потом долго пыталась завесить огромное тройное зеркало.

### Эпилог

...Я успел застать Диву, будучи совсем ещё молодым человеком, студентом историко-филологического факультета. Несмотря на ощу-

тимую разницу в возрасте, он всегда здоровался со мной первым. Здороваться с ним было приятно не только потому, что он обычно при этом очень приветливо и по-доброму улыбался, как бы говоря, что ему радостно меня видеть, но и оттого, что за секунды этой короткой встречи он каким-то невероятным образом успевал перекачать в меня целую вереницу неких позитивных образов и эмоций, которые впоследствии подпитывали моё оптимистическое настроение до глубокого вечера, когда мы любили выходить на «наш лужок» — смотреть на божественный Сириус, к которому он всегда имел некую особую потаённую тягу. Конечно, Иван был очень странным человеком, мало способным к тесному общению. За несколько моих студенческих каникул мы сказали с ним друг другу едва ли сотню слов. Но, воспроизводя их сегодня, я понимаю, что среди них не было ни одного, которое бы соскользнуло с языка случайно. С ним не получалось говорить вообще, а только по существу, предметно: о том, что надо прочистить колодец, после чего я опускал его на верёвке в холодное колодезное нутро и он его чистил. О том, что нашу корову раздуло от съеденной ею мокрой вики, и после этого он приходил к нам на двор и выпускал из коровы лишний воздух. О том, что на нашей вишне появилось много лишая, после чего он приходил к нам в сад и я помогал ему этот лишай успешно выводить какими-то его растворами. Он показал мне, как правильно колоть дрова, как, не уставая, косить и при этом реже прибегать к заточке, как читать Пушкина так, чтобы с первого раза запоминать его наизусть. И всегда при этом лишь два-три предложения. И всё. Несколько раз я собирался разговорить его на что-то большее, что позволило бы мне, например, узнать о его прошлом или о том, почему он общению с людьми предпочитает общение с лесом и его обитателями, но всякий раз что-то останавливало меня, и я неизменно откладывал всё на потом, наивно полагая, что жизнь длинная и нам ещё с ним говорить не переговорить. Потом, когда его не стало, моя младшая сестра рассказала мне, что однажды она, осмелившись, спросила его, отчего он не женится. И он ей, по своему обыкновению са-



мокритично, ответил: «А куда лучше ими (женщинами) издали любоваться, чем совместно мучиться». Тогда она спросила его, а как же дети? Говорят, они цветы жизни! И он сказал ей, что настругать детей — дело нехитрое, в городе, дескать, охотников на это пруд пруди. Другое дело — вырастить, сделать их людьми. А цветы, сказал он, в Меже чаще, увы, несут на похороны. И некоторые умные люди так и говорят, что мы и живём ради неё, достойной смерти. Дива умер очень достойно, можно сказать, что как герой, хоть после его смерти о нём некоторое время и ходил слух, что якобы он увёл у местного инвалида войны лыжи из пруда. Но это, конечно, чушь, плод чьей-то непреодолимой зависти. А я с недавних пор завёл себе привычку: когда небо ясно, я ищу сначала Луну, а потом и его, что неподалёку, синий и отчего-то такой уже близкий Сириус. Впитав его синюю суть, я успокаиваюсь и потом живу весь день спокойно и осмысленно, как Дива в ту давнюю, в ту спорную пору семидесятых годов прошлого века.

И чем дольше я живу на этом свете, становясь с годами мудрее, тем всё больше и больше кляню себя за юношеский инфантилизм, за нереализованное любопытство, за эти оттяжки нашего с ним серьёзного разговора. Ведь

сегодня я уверен абсолютно, что, может быть, лишь со мной этот одинокий и чрезвычайно умный человек и решился бы быть вполне откровенным. И тогда бы я, вероятно, смог узнать что-то очень важное о нас, людях, вообще. Потому что было в нём нечто такое, чего всем нам — кому больше, кому меньше — сегодня чувствительно не хватает. Мне уже и тогда, а особенно сегодня представляется всё отчётливее, что Дива не был безродным сельским мужиком, которого воспитывала какая-то полуграмотная тётка с выселков (на выселках жили практически изгнанные из сёл крестьяне). Его «нарисовал» сам Создатель. Точнее будет сказать, что он рисовал Сына Человеческого, а Дива был лишь одним из десятков эскизов, забытых этим великим Художником где-то на лесном пленэре. Потом этот эскиз подхватил шальной ветер и понёс по привычке его из одного мира в другой, но... его случайно поймала разделяющая миры Межа. Вот и всё, однако.

□

### **Виктор Альбертович СБИТНЕВ —**

*прозаик, поэт, журналист.*

*Родился в Москве в 1955 г.*

*Окончил филологический факультет и аспирантуру*

*ЛГПИ им. Герцена.*

*Печатался в «Нашем современнике», «Литературной России»,*

*«Мире Севера», «Губернском доме» и др.*

*Автор трёх книг прозы.*

*Главный редактор*

*литературного альманаха «Костромской собеседник».*

*Живёт в Костроме.*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

